

Библиотека советской фантастики

Кир Булычев

пюқи как пюқи



Библиотека советской фантастики

КИР БУЛЫЧЕВ

**пюқи
как пюқи**

**ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
РАССКАЗЫ**

Москва
«Молодая гвардия»
1975

Р2
Б90

Б $\frac{70302-061}{078(02)-75}$ 183—75

© Издательство «Молодая гвардия», 1975 г.



- Можно попросить Нину? — сказал я.
- Это я, Нина.
- Да? Почему у тебя такой странный голос?
- Странный голос?
- Не твой. Тонкий. Ты огорчена чем-нибудь?
- Не знаю.
- Может быть, мне не стоило звонить?

— А кто говорит?

— С каких пор ты перестала меня узнавать?

— Кого узнавать?

Голос был моложе Нины лет на двадцать. А на самом деле Нинин голос лишь лет на пять моложе хозяйки. Если человека не знаешь, по голосу его возраст угадать трудно. Голоса часто старятся раньше владельцев. Или долго остаются молодыми.

— Ну ладно, — сказал я. — Послушай, я звоню тебе почти по делу.

— Наверно, вы все-таки ошиблись номером, — сказала Нина. — Я вас не знаю.

— Это я, Вадим, Вадик, Вадим Николаевич! Что с тобой?

— Ну вот! — Нина вздохнула, будто ей жаль было прекращать разговор. — Я не знаю никакого Вадика и Вадима Николаевича.

— Простите, — сказал я и повесил трубку.

Я не сразу набрал номер снова. Конечно, я просто не туда попал. Мои пальцы не хотели звонить Нине. И набрали не тот номер. А почему они не хотели?

Я отыскал в столе пачку кубинских сигарет. Крепких, как сигары. Их, наверно, делают из обрезков сигар. Какое у меня может быть дело к Нине? Или почти дело? Никакого. Просто хотелось узнать, дома ли она. А если ее нет дома, это ничего не меняет. Она может быть, например, у мамы. Или в театре, потому что она тысячу лет не была в театре.

Я позвонил Нине.

— Нина? — сказал я.

— Нет, Вадим Николаевич, — ответила Нина. — Вы опять ошиблись. Вы какой номер набираете?

— 149-40-89.

— А у меня Арбат — один — тридцать два — пять три.

— Конечно, — сказал я. — Арбат — это четыре?
— Арбат — это Г.
— Ничего общего, — сказал я. — Извините, Нина.
— Пожалуйста, — сказала Нина. — Я все равно не занята.

— Постараюсь к вам больше не попадать, — сказал я. — Где-то заклинилось. Вот и попадаю к вам. Очень плохо телефон работает.

— Да, — согласилась Нина.

Я повесил трубку.

Надо подождать. Или набрать сотню. Время. Что-то замкнется в перепутавшихся линиях на станции. И я дозвонюсь. «Двадцать два часа ровно», — сказала женщина по телефону «сто». Я вдруг подумал, что если ее голос записали давно, десять лет назад, то она набирает номер «сто», когда ей скучно, когда она одна дома, и слушает свой голос, свой молодой голос. А может быть, она умерла. И тогда ее сын или человек, который ее любил, набирает сотню и слушает ее голос.

Я позвонил Нине.

— Я вас слушаю, — сказала Нина молодым голосом. — Это опять вы, Вадим Николаевич?

— Да, — сказал я. — Видно, наши телефоны соединились намертво. Вы только не сердитесь, не думайте, что я шучу. Я очень тщательно набирал номер, который мне нужен.

— Конечно, конечно, — быстро сказала Нина. — Я ни на минутку не подумала. А вы очень спешите, Вадим Николаевич?

— Нет, — сказал я.

— У вас важное дело к Нине?

— Нет, я просто хотел узнать, дома ли она.

— Соскучились?

— Как вам сказать...

— Я понимаю, ревнуете, — сказала Нина.

— Вы смешной человек, — сказал я. — Сколько вам лет, Нина?

— Тринадцать. А вам?

— Больше сорока. Между нами толстенная стена из кирпичей.

— И каждый кирпич — это месяц, правда?

— Даже один день может быть кирпичом.

— Да, — вздохнула Нина, — тогда это очень толстая стена. А о чем вы думаете сейчас?

— Трудно ответить. В данную минуту ни о чем. Я же разговариваю с вами.

— А если бы вам было тринадцать лет или даже пятнадцать, мы могли бы познакомиться, — сказала Нина. — Это было бы очень смешно. Я бы сказала: приезжайте завтра вечером к памятнику Пушкину. Я вас буду ждать в семь часов ровно. И мы бы друг друга не узнали. Вы где встречаетесь с Ниной?

— Как когда.

— И у Пушкина?

— Не совсем. Мы как-то встречались у «России».

— Где?

— У кинотеатра «Россия».

— Не знаю.

— Ну, на Пушкинской.

— Все равно почему-то не знаю. Вы, наверно, шутите. Я хорошо знаю Пушкинскую площадь.

— Неважно, — сказал я.

— Почему?

— Это давно было.

— Когда?

Девочке не хотелось вешать трубку. Почему-то она упорно продолжала разговор.

— Вы одна дома? — спросил я.

— Да. Мама в вечернюю смену. Она медсестра в

госпитале. Она на ночь останется. Она могла бы прийти и сегодня, но забыла дома пропуск.

— Ага, — согласился я. — Ладно, ложись спать, девочка. Завтра в школу.

— Вы со мной заговорили, как с ребенком.

— Нет, что ты, говорю с тобой, как со взрослой.

— Спасибо. Только сами, если хотите, ложитесь спать с семи часов. До свидания. И больше не звоните своей Нине. А то опять ко мне попадете. И разбудите меня, маленькую девочку.

Я повесил трубку. Потом включил телевизор и узнал о том, что луноход прошел за смену 337 метров. Луноход занимался делом, а я бездельничал. В последний раз я решил позвонить Нине уже часов в одиннадцать, целый час занимал себя пустяками. И решил, что, если опять попаду на девочку, повешу трубку сразу.

— Я так и знала, что вы еще раз позвоните, — сказала Нина, подойдя к телефону. — Только не вешайте трубку. Мне, честное слово, очень скучно. И читать нечего. И спать еще рано.

— Ладно, — сказал я. — Давайте разговаривать. А почему вы так поздно не спите?

— Сейчас только восемь, — сказала Нина.

— У вас часы отстают, — сказал я. — Уже двенадцатый час.

Нина засмеялась. Смех у нее был хороший, мягкий.

— Вам так хочется от меня отделаться, что просто ужас, — сказала она. — Сейчас октябрь, и поэтому стемнело. И вам кажется, что уже ночь.

— Теперь ваша очередь шутить? — спросил я.

— Нет, я не шучу. У вас не только часы врут, но и календарь врёт.

— Почему врёт?

— А вы сейчас мне скажете, что у вас вовсе не октябрь, а февраль.

— Нет, декабрь, — сказал я. И почему-то, будто сам себе не поверил, посмотрел на газету, лежавшую рядом, на диване. «Двадцать третье декабря» — было написано под заголовком.

Мы помолчали немного, я надеялся, что она сейчас скажет «до свидания». Но она вдруг спросила:

— А вы ужинали?

— Не помню, — сказал я искренне.

— Значит, не голодный.

— Нет, не голодный.

— А я голодная.

— А что, дома есть нечего?

— Нечего! — сказала Нина. — Хоть шаром покати.

Смешно, да?

— Даже не знаю, как вам помочь, — сказал я. — И денег нет?

— Есть, но совсем немножко. И все уже закрыто. А потом, что купишь?

— Да, — согласился я. — Все закрыто. Хотите, я пошурю в холодильнике, посмотрю, что там есть?

— У вас есть холодильник?

— Старый, — сказал я. — «Север». Знаете такой?

— Нет, — сказала Нина. — А если найдете, что потом?

— Потом? Я схвачу такси и подвезу вам. А вы спуститесь к подъезду и возьмете.

— А вы далеко живете? Я — на Сивцевом Вражке. Дом 15/25.

— А я на Мосфильмовской. У Ленинских гор. За университетом.

— Опять не знаю. Только это неважно. Вы хорошо придумали, и спасибо вам за это. А что у вас есть в холодильнике? Я просто так спрашиваю, не думайте.

— Если бы я помнил, — сказал я. — Сейчас перенесу телефон на кухню, и мы с вами посмотрим.

Я прошел на кухню, и провод тянулся за мной, как змея.

— Итак, — сказал я, — открываем холодильник.

— А вы можете телефон носить за собой? Никогда не слышала о таком.

— Конечно, могу. А ваш телефон где стоит?

— В коридоре. Он висит на стенке. И что у вас в холодильнике?

— Значит, так... что тут, в пакете? Это яйца, неинтересно.

— Яйца?

— Ага. Куриные. Вот, хотите, принесу курицу? Нет, она французская, мороженная. Пока вы ее сварите, совсем проголодаетесь. И мама придет с работы. Лучше мы возьмем колбасы. Или нет, нашел марокканские сардины, шестьдесят копеек банка. И к ним есть полбанки майонеза. Вы слышите?

— Да, — сказала Нина совсем тихо. — Зачем вы так шутите? Я сначала хотела засмеяться, а потом мне стало грустно.

— Это еще почему? В самом деле так проголодалась?

— Нет, вы же знаете.

— Что я знаю?

— Знаете, — сказала Нина. Потом помолчала и добавила: — Ну и пусть! Скажите, а у вас есть красная икра?

— Нет, — сказал я. — Зато есть филе палтуса.

— Не надо, хватит, — сказала Нина твердо. — Давайте отвлечемся. Я же все поняла.

— Что поняла?

— Что вы тоже голодный. А что у вас из окна видно?

— Из окна? Дома, копировальная фабрика. Как раз сейчас, полдвенадцатого, смена кончается. И много

девушек выходит из проходной. И еще виден «Мосфильм». И пожарная команда. И железная дорога. Вот по ней сейчас идет электричка.

— И вы все видите?

— Электричка, правда, далеко идет. Только видна цепочка огоньков, окон!

— Вот вы и врете!

— Нельзя так со старшими разговаривать, — сказал я. — Я не могу врать. Я могу ошибаться. Так в чем же я ошибся?

— Вы ошиблись в том, что видите электричку. Ее нельзя увидеть.

— Что же она, невидимая, что ли?

— Нет, видимая, только окна светиться не могут. Да вы вообще из окна не выглядывали.

— Почему? Я стою перед самым окном.

— А у вас в кухне свет горит?

— Конечно, а так как же я в темноте в холодильник бы лазил. У меня в нем перегорела лампочка.

— Вот, видите, я вас уже в третий раз поймала.

— Нина, милая, объясни мне, на чем ты меня поймала.

— Если вы смотрите в окно, то откинули затемнение. А если откинули затемнение, то потушили свет. Правильно?

— Неправильно. Зачем же мне затемнение? Война, что ли?

— Ой-ой-ой! Как же можно так завираться? А что же, мир, что ли?

— Ну, я понимаю, Вьетнам, Ближний Восток... Я не об этом.

— И я не об этом... Постойте, а вы инвалид?

— К счастью, все у меня на месте.

— У вас бронь?

— Какая бронь?

— А почему вы тогда не на фронте?

Вот тут я в первый раз только заподозрил неладное. Девочка меня вроде бы разыгрывала. Но делала это так обыкновенно и серьезно, что чуть было меня не испугала.

— На каком я должен быть фронте, Нина?

— На самом обыкновенном. Где все. Где папа. На фронте с немцами. Я серьезно говорю, я не шучу. А то вы так странно разговариваете. Может быть, вы не врете о курице и яйцах?

— Не вру, — сказал я. — И никакого фронта нет. Может быть, и в самом деле мне подъехать к вам?

— Так я в самом деле не шучу! — почти крикнула Нина. — И вы перестаньте. Мне сначала было интересно и весело. А теперь стало как-то не так. Вы меня простите. Как будто вы не притворяетесь, а говорите правду.

— Честное слово, девочка, я говорю правду, — сказал я.

— Мне даже страшно стало. У нас печка почти не греет. Дров мало. И темно. Только коптилка. Сегодня электричества нет. И мне одной сидеть ой как не хочется. Я все теплые вещи на себя накутала.

И тут же она резко и как-то сердито повторила вопрос:

— Вы почему не на фронте?

— На каком я могу быть фронте? — Уже и в самом деле шутки зашли куда-то не туда. — Какой может быть фронт в семьдесят втором году!

— Вы меня разыгрываете?

Голос опять сменил тон, был он недоверчив, был он маленьким, три вершка от пола. И невероятная, забытая картинка возникла перед глазами — то, что было со мной, но много лет, тридцать или больше лет назад. Когда мне тоже было двенадцать лет. И в комнате

стояла «буржуйка». И я сижу на диване, подобрав ноги. И горит свечка, или это была керосиновая лампа? И курица кажется нереальной, сказочной птицей, которую едят только в романах, хотя я тогда не думал о курице...

— Вы почему замолчали? — спросила Нина. — Вы лучше говорите.

— Нина, — сказал я. — Какой сейчас год?

— Сорок второй, — сказала Нина.

И я уже складывал в голове ломтики несообразностей в ее словах. Она не знает кинотеатра «Россия». И телефон у нее только из шести номеров. И затемнение...

— Ты не ошибаешься? — спросил я.

— Нет, — сказала Нина.

Она верила в то, что говорила. Может, голос обманул меня? Может, ей не тринадцать лет? Может, она, сорокалетняя женщина, заболела еще тогда, девочкой, и ей кажется, что она осталась там, где война?

— Послушайте, — сказал я спокойно. Не вешать же трубку. — Сегодня двадцать третье декабря 1972 года. Война кончилась двадцать семь лет назад. Вы это знаете?

— Нет, — сказала Нина.

— Вы знаете это. Сейчас двенадцатый час... Ну как вам объяснить?

— Ладно, — сказала Нина покорно. — Я тоже знаю, что вы не привезете мне курицу. Мне надо было догадаться, что французских куриц не бывает.

— Почему?

— Во Франции немцы.

— Во Франции давным-давно нет никаких немцев. Только если туристы. Но немецкие туристы бывают и у нас.

— Как так? Кто их пускает?

— А почему не пускать?
— Вы не вздумайте сказать, что фрицы нас победят! Вы, наверно, просто вредитель или шпион?
— Нет, я работаю в СЭВе, в Совете Экономической Взаимопомощи. Занимаюсь венграми.
— Вот и опять врете! В Венгрии фашисты.
— Венгры давным-давно прогнали своих фашистов. Венгрия — социалистическая республика.
— Ой, а я уж боялась, что вы и в самом деле вредитель. А вы все-таки все выдумываете. Нет, не раздражайте. Вы лучше расскажите мне, как будет потом. Придумайте что хотите, только чтобы было хорошо. Пожалуйста. И извините меня, что я так с вами грубо разговаривала. Я просто не поняла.

И я не стал больше спорить. Как объяснить это? Я опять представил себе, как сижу в этом самом сорок втором году, как мне хочется узнать, когда наши возьмут Берлин и повесят Гитлера. И еще узнать, где я потерял хлебную карточку за октябрь. И сказал:

— Мы победим фашистов 9 мая 1945 года.

— Не может быть! Очень долго ждать.

— Слушай, Нина, и не перебивай. Я знаю лучше. И Берлин мы возьмем второго мая. Даже будет такая медаль — «За взятие Берлина». А Гитлер покончит с собой. Он примет яд. И даст его Еве Браун. А потом эсэсовцы вынесут его тело во двор имперской канцелярии, и обольют бензином, и сожгут...

Я рассказывал это не Нине. Я рассказывал это себе. И я послушно повторял факты, если Нина не верила или не понимала сразу, возвращался, когда она просила пояснить что-нибудь, и чуть было не потерял вновь ее доверия, когда сказал, что Сталин умрет. Но я потом вернул ее веру, поведав о Юрии Гагарине и о новом Арбате. И даже насмешил Нину, рассказав о том, что женщины будут носить брюки-клеш и совсем короткие

юбки. И даже вспомнил, когда наши перейдут границу с Пруссией. Я потерял чувство реальности. Девочка Нина и мальчишка Вадик сидели передо мной на диване и слушали. Только они были голодные как черти. И дела у Вадика обстояли даже хуже, чем у Нины; хлебную карточку он потерял, и до конца месяца им с матерью придется жить на одну ее карточку, рабочую карточку, потому что Вадик посеял карточку где-то во дворе, и только через пятнадцать лет он вдруг вспомнит, как это было, и будет снова расстраиваться, потому что карточку можно было найти даже через неделю; она, конечно, свалилась в подвал, когда он бросил на решетку пальто, собираясь погонять в футбол. И я сказал, уже потом, когда Нина устала слушать то, что полагала хорошей сказкой:

— Ты знаешь Петровку?

— Знаю, — сказала Нина. — А ее не переименуют?

— Нет. Так вот...

Я рассказал, как войти во двор под арку и где в глубине двора есть подвал, закрытый решеткой. И если это октябрь сорок второго года, середина месяца, то в подвале, вернее всего, лежит хлебная карточка. Мы там, во дворе, играли в футбол, и я эту карточку потерял.

— Какой ужас! — сказала Нина. — Я бы этого не пережила. Надо сейчас же ее отыскать. Сделайте это.

Она тоже вошла во вкус игры, и где-то реальность ушла, и уже ни она, ни я не понимали, в каком году мы находимся, — мы были вне времени, ближе к ее сорок второму году.

— Я не могу найти карточку, — сказал я. — Прошло много лет. Но если сможешь, зайди туда, подвал должен быть открыт. В крайнем случае скажешь, что карточку обронила ты.

И в этот момент нас разъединили.

Нины не было. Что-то затрещало в трубке. Женский голос сказал:

— Это 143-18-15? Вас вызывает Орджоникидзе.

— Вы ошиблись номером, — сказал я.

— Извините, — сказал женский голос равнодушно. И были короткие гудки.

Я сразу же набрал снова Нинин номер. Мне нужно было извиниться. Нужно было посмеяться вместе с девочкой. Ведь получалась в общем чепуха....

— Да, — сказал голос Нины. Другой Нины.

— Это вы? — спросил я.

— А, это ты, Вадим? Что тебе не спится?

— Извини, — сказал я. — Мне другая Нина нужна.

— Что?

Я повесил трубку и снова набрал номер.

— Ты с ума сошел? — спросила Нина. — Ты пил?

— Извини, — сказал я и снова бросил трубку.

Теперь звонить было бесполезно. Звонок из Орджоникидзе все вернул на свои места. А какой у нее настоящий телефон? Арбат — три, нет, Арбат — один — тридцать два — тридцать... Нет, сорок...

Взрослая Нина позвонила мне сама.

— Я весь вечер сидела дома, — сказала она. — Думала, ты позвонишь, объяснишь, почему ты вчера так себя вел. Но ты, видно, совсем сошел с ума.

— Наверно, — согласился я. Мне не хотелось рассказывать ей о длинных разговорах с другой Ниной.

— Какая еще другая Нина? — спросила она. — Это образ? Ты хочешь заявить, что желал бы видеть меня иной?

— Спокойной ночи, Ниночка, — сказал я. — Завтра все объясню.

...Самое интересное, что у этой странной истории был не менее странный конец. На следующий день утром я поехал к маме. И сказал, что разберу антресо-

ли. Я три года обещал это сделать, а тут приехал сам. Я знаю, что мама ничего не выкидывает. Из того, что, как ей кажется, может пригодиться. Я копался часа полтора в старых журналах, учебниках, разрозненных томах приложений к «Ниве». Книги были не пыльными, но пахли старой, теплой пылью. Наконец я отыскал телефонную книгу за 1950 год. Книга распухла от вложенных в нее записок и заложенных бумажками страниц, углы которых были обтрепаны и замусолены. Книга была настолько знакома, что казалось странным, как я мог ее забыть, — если бы не разговор с Ниной, так бы никогда и не вспомнил о ее существовании. И стало чуть стыдно, как перед честно отслужившим костюмом, который отдают старьевщику на верную смерть.

Четыре первые цифры известны. Г-1-32... И еще я знал, что телефон, если никто из нас не притворялся, если надо мной не подшутили, стоял в переулке Сивцев Вражек, в доме 15/25. Никаких шансов найти тот телефон не было. Я уселся с книгой в коридоре, вытащив из ванной табуретку. Мама ничего не поняла, улыбулась только, проходя мимо, и сказала:

— Ты всегда так. Начнешь разбирать книги, зачитаешься через десять минут. И уборке конец.

Она не заметила, что я читаю телефонную книгу.

Я нашел этот телефон. Двадцать лет назад он стоял в той же квартире, что и в сорок втором году. И записан был на Фролову К. Г.

Согласен, я занимался чепухой. Искал то, чего и быть не могло. Но вполне допускаю, что процентов десять вполне нормальных людей, окажись они на моем месте, делали бы то же самое. И я поехал на Сивцев Вражек.

Новые жильцы в квартире не знали, куда уехали Фроловы. Да и жили ли они здесь? Но мне повезло в домоуправлении. Старенькая бухгалтерша помнила

Фроловых, с ее помощью я узнал все, что требовалось, через адресный стол.

Уже стемнело. По новому району, среди одинаковых панельных башен гуляла поземка. В стандартном двухэтажном магазине продавали французских кур в покрытых инеем прозрачных пакетах. У меня появился соблазн купить курицу и принести ее, как обещал, хоть и с двадцатилетним опозданием. Но я хорошо сделал, что не купил ее. В квартире никого не было. И по тому, как гулко разносился звонок, мне показалось, что здесь люди не живут. Уехали.

Я хотел было уйти, но потом, раз уж забрался так далеко, позвонил в дверь рядом.

— Скажите, Фролова Нина Сергеевна — ваша соседка?

Парень в майке, с дымящимся паяльником в руке ответил равнодушно:

— Они уехали.

— Куда?

— Месяц как уехали на Север. До весны не вернутся. И Нина Сергеевна, и муж ее.

Я извинился, начал спускаться по лестнице. И думал, что в Москве, вполне вероятно, живет не одна Нина Сергеевна Фролова 1930 года рождения.

И тут дверь сзади снова растворилась.

— Погодите, — сказал тот же парень. — Мать что-то сказать хочет.

Мать его тут же появилась в дверях, запахивая халат.

— А вы кем ей будете?

— Так просто, — сказал я. — Знакомый.

— Не Вадим Николаевич?

— Вадим Николаевич.

— Ну вот, — обрадовалась женщина, — чуть было вас не упустила. Она бы мне никогда этого не простила.

Нина так и сказала: не прощу. И записку на дверь приколола. Только записку, наверно, ребята сорвали. Месяц уже прошел. Она сказала, что вы в декабре придете. И даже сказала, что постарается вернуться, но далеко-то как...

Женщина стояла в дверях, глядела на меня, словно ждала, что я сейчас открою какую-то тайну, расскажу ей о неудачной любви. Наверное, она и Нину пытала: кто он тебе? И Нина тоже сказала ей: «Просто знакомый».

Женщина выдержала паузу, достала письмо из кармана халата.

«Дорогой Вадим Николаевич!

Я, конечно, знаю, что вы не придете. Да и как можно верить детским мечтам, которые, и себе самой уже кажутся только мечтами. Но ведь хлебная карточка была в том самом подвале, о котором вы успели мне сказать...»



1

Чуть выше Калязина, где Волга течет по широкой, крутой дуге, сдерживаемая высоким левым берегом, есть большой, поросший соснами остров. С трех сторон его огибает Волга, с четвертой — прямая протока, которая образовалась, когда построили плотину в Угличе

и уровень воды поднялся. За островом, за протокой, снова начинается сосновый лес. С воды он кажется темным, густым и бескрайним. На самом деле он не так уж велик и даже не густ. Его пересекают дороги и тропинки, проложенные по песку, а потому всегда сухие, даже после дождей.

Одна из таких дорог тянулась по самому краю леса, вдоль ржаного поля, и упиралась в воду, напротив острова. По воскресеньям, летом, если хорошая погода, по ней к протоке приезжал автобус с отдыхающими. Они ловили рыбу и загорали. Часто к берегу у дороги приставали моторки и яхты, и тогда с воды были видны серебряные и оранжевые палатки. Куда больше туристов высаживалось на острове. Им казалось, что там можно найти уединение, и потому они старательно искали щель между поставленными раньше палатками, высадившись, собирали забытые консервные банки и прочий сор, ругали предшественников за беспорядок, убежденные в том, что плохое отношение к природе — варварство, что не мешало им самим, отъезжая, оставлять на берегу пустые банки, бутылки и бумажки. Вечерами туристы разжигали костры и пили чай, но в отличие от пешеходов, ограниченных тем, что могут унести в рюкзаках, они не пели песен и не шумели — чаще всего они прибывали туда семьями, с детьми, собаками, запасом разных продуктов и примусом.

Однорукий лесник с хмурым мятым лицом, который выходил искупаться к концу лесной дороги, привык не обижаться на туристов и не опасался, что они подожгут лес. Он знал, что его туристы — народ обстоятельный и солидный, костры они всегда заливают или затапывают.

Однорукий лесник скидывал форменную тужурку с дубовыми листьями в петлицах, расстегивал брюки, ловко снимал ботинки и осторожно входил в воду, шупая

ногой дно, чтобы не наступить на осколок бутылки или острый камень. Потом останавливался по пояс в воде, глубоко вздыхал и падал в воду. Он плыл на боку, подгребая единственной рукой. Надежда с Оленькой оставались обычно на берегу. Надежда мыла посуду, потому что в доме лесника на том конце дороги не было колодца, а если кончала мыть раньше, чем лесник вылезал из воды, садилась на камень и ждала его, глядя на воду и на цепочку костров на том берегу протоки, которые напоминали ей почему-то ночную городскую улицу и вызывали желание уехать в Ленинград или в Москву. Когда Надежда видела, что лесник возвращается, она заходила по колено в воду, протягивала ему пустые ведра, и он наполнял их, вернувшись туда, где поглубже и вода чище.

Если поблизости оказывались туристы, лесник накидывал на голое тело форменную тужурку и шел к костру. Он старался людей не пугать и говорил с ними мягко, вежливо и глядел влево, чтобы не виден был шрам на щеке.

На обратном пути он останавливался, подбирал бумажки и всякую труху и сносил к яме, которую каждую весну рыл у дороги и которой никто, кроме него, не пользовался.

Если было некогда или не сезон и берега пусты, однорукий лесник не задерживался у воды. Набирал ведра и спешил домой. Надежда приезжала только по субботам, а Оленька, маленькая еще, боялась оставаться вечером одна.

Он шел по упругой ровной дороге, пролегшей между розовыми, темнеющими к земле стволами сосен, у подножия которых сквозь слой серых игл пробивались кусты черники и росли грибы.

Грибов лесник не ел, не любил и не собирал. Собирали их Оленька, и, чтобы доставить ей удовольствие,

лесник научился солить их и сушить на чердаке. А потом они дарили их Надежде. Когда она приезжала.

Оленька была леснику племянницей. Дочкой погибшего три года назад брата-шофера. Они оба, и лесник, которого звали Тимофеем Федоровичем, и брат его Николай, были из этих мест. Тимофей пришел безруким с войны и устроился в лес, а Николай был моложе и на войну не попал. Тимофей остался бобылем, а Николай женился в сорок восьмом на Надежде, у него родилась дочь, и жили они с Надеждой мирно, но Николай попал в аварию и умер в больнице. До смерти Николая лесник редко виделся с братом и его семьей, но, когда настало первое лето после его смерти, лесник как-то был в городе, зашел к Надежде и пригласил ее с дочкой приезжать в лес. Он знал, что у Надежды скудно с деньгами, других родственников у нее нет — работала она медсестрой в больнице. Вот и позвал приезжать к себе, привозить девочку.

С тех пор Надежда каждое лето отвозила Оленьку дяде Тимофею, на месяц, а то и больше, а сама приезжала по субботам, прибирала в доме, подметала, мыла полы и старалась быть полезной, потому что денег за Оленьку Тимофей, конечно, не брал. И то, что она хлопотала по дому, вместо того чтобы отдыхать, и злило Тимофея, и трогало.

Был уже конец августа, погода портилась, ночи стали холодными и влажными, словно тянуло, как из погреба, от самого Рыбинского моря. Туристы разъехались. Была последняя суббота, через три дня Тимофей обещал привезти Олю к школе, ей пора было идти в первый класс. Была последняя ночь, когда Надежда будет спать в доме Тимофея. И до весны. Может, лесник приедет в Калязин на ноябрьские, а может, и не увидит их до Нового года.

Надежда мыла посуду. На песке лежал кусок хозяй-

ственного мыла. Надежда мыла чашки и тарелки, что накопились с обеда и ужина, проводила тряпкой по мылу и терла ею посуду, зайдя по щиколотки в воду. Потом полоскала каждую чашку. Оля озябла и убежала куда-то в кусты, искала лисички. Лесник сидел на камне, накинув тужурку. Он не собирался купаться, но и дома делать было нечего. Они молчали.

Полоская чашки, Надежда наклонялась, и лесник видел ее загорелые, крепкие и очень еще молодые ноги, и ему было неловко оттого, что он не может поговорить с Надеждой, чтобы она оставалась у него совсем. Ему было легче, если бы Николая никогда не существовало, и потому лесник старался смотреть мимо Надежды, на серую сумеречную воду, черный часток колеса на острове и одинокий огонек костра на том берегу. Костер жгли не туристы, а рыбаки, местные.

Но Надежда в тот вечер тоже чувствовала себя неловко, будто ждала чего-то, и, когда взгляд лесника вернулся к ней, она распрямилась и спрятала под белую в красный горошек косынку прядь прямых русых волос. Волосы за лето стали светлее кожи — выгорели, от загара белее казались зубы и белки глаз. Особенно сейчас. Тимофей отвел глаза — Надежда смотрела на него как-то слишком откровенно, как на него смотреть было нельзя, потому что он был некрасив, потому что он был инвалид и еще был старшим братом ее погибшего мужа и потому что он хотел бы, чтобы Надежда осталась здесь.

А она стояла и смотрела на него. И он не мог, даже отводя глаза, не видеть ее. У нее была невысокая грудь, тонкая талия и длинная шея. А вот ноги были крепкими и тяжелыми. И руки были сильные, налитые. В сумерках глаза ее светились — белки казались светло-голубыми. Тимофей нечаянно ответил на ее взгляд, и сладкая боль, зародившись в плече, распространилась

на грудь и подошла к горлу ожиданием того, что может и должно случиться сегодня.

Тимофей не мог оторвать взгляда от Надежды. А когда ее губы шевельнулись, он испугался наступающих слов и звука голоса.

Надежда сказала:

— Ты, Тима, иди домой. Оленьку возьми, она замерзла. Я скоро.

Тимофей сразу поднялся, с облегчением, полный благодарности Надежде, что она нашла такие ничего не значащие, но добрые и нужные слова.

Он позвал Олю и пошел к дому. А Надежда осталась домыывать посуду.

2

Даг поудобнее уселся в потертом кресле, разложил список на столе и читал его вслух, отчеркивая погтем строчки. Он чуть шурился — зрение начинало сдавать, хотя он сам об этом не догадывался или, вернее, не позволял себе догадываться.

— А запасную рацию взял?

— Взял, — ответил Павлыш.

— Второй тент взял?

— Ты дочитай сначала. Сато, у тебя нет черных ниток?

— Нет. Кончились.

— Возьми и третий тент, — сказал Даг.

— Не надо.

— И второй генератор возьми.

— Вот он, пункт двадцать три.

— Правильно. Сколько баллонов берешь?

— Хватит.

— Сгущенное молоко? Зубную щетку?

— Ты меня собираешь в туристский поход?
— Возьми компот. Мы обойдемся.
— Я к вам зайду, когда захочется компота.
— К нам не так легко прийти.
— Я шучу, — сказал Павлыш. — Я не собираюсь к вам приходиться.

— Как хочешь, — сказал Даг.

Он смотрел на экран. Роботы ползали по тросам, как тли по травинкам.

— Сегодня переберешься? — спросил Даг.

Даг торопился домой. Они потеряли уже два дня, готовя добычу к транспортировке. И еще две недели на торможение и маневры.

На мостик вошел Сато и сказал, что катер готов и загружен.

— По списку? — спросил Даг.

— По списку. Павлыш дал мне копию.

— Это хорошо, — сказал Даг. — Добавь третий тент.

— Я уже добавил, — сказал Сато. — У нас есть запасные тенты. Нам они все равно не пригодятся.

— Я бы на твоём месте, — сказал Даг, — перебирался бы сейчас.

— Я готов, — сказал Павлыш. Даг был прав. Лучше перебраться сейчас, и если что не так, нетрудно сгонять на корабль и взять забытое. Придется провести несколько недель на потерявшем управление, мертвом судне, брошенном хозяевами неизвестно когда и неизвестно почему, летевшем бесцельно, словно «Летучий голландец», и обреченном, не встретить они его, миллионы лет проваливаться в черную пустоту космоса, пока его не притянет какая-нибудь звезда или планета или пока он не разлетится вдребезги, столкнувшись с метеоритом.

Участок Галактики, через который они возвращались, был пуст, лежал в стороне от изведанных путей,

и сюда редко заглядывали корабли. Это была исключительная, почти невероятная находка. Неуправляемый, оставленный экипажем, но не поврежденный корабль.

Даг подсчитал, что, если вести трофей на буксире, горючего до внешних баз хватит. Конечно, если выкинуть за борт груз и отправить в пустоту почти все, ради чего они двадцать месяцев не видели ни одного человеческого лица (собственные не в счет).

И кому-то из троих надо было отправиться на борт трофея, держать связь и смотреть, чтобы он вел себя пристойно. Пошел Павлыш.

— Я пошел, — сказал Павлыш. — Установлю тент. Опробую связь.

— Ты осторожнее, — сказал Даг, вдруг расчувствовавшись. — Чуть что...

— Главное, не потеряйте, — ответил Павлыш.

Павлыш заглянул на минуту к себе в каюту поглядеть, не забыл ли чего-нибудь, а заодно попрощаться с тесным и уже неудобным жилищем, где он провел много месяцев и с которым расставался раньше, чем предполагал. И оттого вдруг ощутил сентиментальную вину перед пустыми, знакомыми до последнего винта стенами.

Сато ловко подогнал катер к грузовому люку мертвого корабля. Нетрудно догадаться, что там когда-то стоял спасательный катер. Его не было. Лишь какое-то механическое устройство маячило в стороне.

Толкая перед собой тюк с тентами и баллонами, Павлыш пошел по широкому коридору к каюте у самого пульта управления. Там он решил обосноваться. Судя по форме и размерам помещения, обитатели его были пониже людей ростом, возможно, массивнее. В каюте, правда, не было никакой мебели, по которой можно было бы судить, как устроены хозяева корабля. Может, это была и не каюта, а складское помещение. обследо-

вать корабль толком не успели. Это предстояло сделать Павлышу. Корабль был велик. И путешествие обещало быть нескучным.

Следовало устроить лагерь. Сато помог раскинуть тент. Переходную камеру они устроили у двери и проверили, быстро ли тент наполняется воздухом. Все в порядке. Теперь у Павлыша был дом, где можно жить без скафандра. Скафандр понадобится для прогулок. Пока Павлыш раскладывал в каюте свои вещи, Сато установил освещение и опробовал рацию. Можно было подумать, что он сам намеревается здесь жить...

Разгонялись часов шесть. Даг опасался за прочность буксира. В конце разгона Павлыш вышел на пульт управления корабля и смотрел, как летевшие рядом серебряные цилиндры — выброшенный за борт груз — постепенно отставали, словно провожающие на платформе. Перегрузки были уже терпимые, и он решил заняться делами.

Пульт управления дал мало информации.

Странное зрелище представлял этот пульт. Да и вся рубка. Здесь побывал хулиган. Вернее, не просто хулиган, а малолетний радиолюбитель, которому отдали на растерзание дорогую и сложную машину. Вот он и превратил ее в детекторный приемник, используя транзисторы вместо гвоздей, из печатных схем сделал подставку, а ненужной, на его взгляд, платиновой фольгой оклеил свой чердачок, словно обоями. Можно было предположить — а это предположение уже высказал Даг, когда они попали сюда впервые, — что управление кораблем раньше было полностью автоматическим. Но потом кто-то без особых церемоний сорвал крышки и кожухи, соединил накоротко линии, которые соединять было не положено, — в общем, принял все меры, чтобы превратить хронометр в первобытный будильник. От такой вивисекции осталось множество лиш-

них «винтиков», порой внушительных размеров. Шалун разбросал их по полу, словно спешил завершить разгром и спрятаться раньше, чем вернутся родители.

Удивительно, но нигде не встретилось ни одного стула, кресла или чего-либо близкого к этим предметам. Возможно, хозяева и не знали, что такое стулья. Сидели, скажем, на полу. Или вообще катались, словно перекати-поле. Павлыш таскал за собой камеру и старался заснять все, что можно. На всякий случай. Если что-нибудь стрясется, могут сохраниться пленки. Чуть гудел шлемовый фонарь, и оттого абсолютнее была тишина. Было так тихо, что Павлышу начали чудиться шелестящие шаги и шорохи. Хотелось ходить на цыпочках, будто он мог кого-то разбудить. Он знал, что будить некого, и хотел было отключить шлемофон, но потом остерегся. Если вдруг в беззвучном корабле возникнет шум, звук, голос, пускай он его услышит.

И от этой невероятной возможности стало совсем неуютно. Павлыш поймал себя на нелепом жесте — положил ладонь на рукоять бластера.

— Атавизм, — сказал он.

Оказалось, сказал вслух. Потому что в шлемофоне возник голос Дага.

— Ты о чем?

— Привык, что мы всегда вместе, — сказал Павлыш. — Неуютно.

Павлыш видел себя со стороны: маленький человек в блестящем скафандре, жучок в громадной банке, набитой трухой.

Коридор, который вел мимо его каюты, заканчивался круглым пустым помещением. Павлыш оттолкнулся от люка и в два прыжка одолел его. За ним начинался такой же коридор. И стены, и пол везде были одинакового голубого цвета, чуть белесого, словно выгоревшего от солнца. Свет шлемового фонаря расходился

широким лучом, и стены отражали его. Коридор загибался впереди. Павлыш нанес его на план. Пока план корабля представлял собой эллипс, в передней части которого был обозначен грузовой люк и эллинг для улетевшего катера или спасательной ракеты, пульт управления, коридор, соединяющий пульт с круглым залом, и еще три коридора, отходявшие от пульта. Известно было, где находятся двигатели, но их пока не стали обозначать на плане. Времени достаточно, чтобы все осмотреть не спеша.

Шагов через сто коридор уперся в полуоткрытый люк. У люка лежало что-то белое, плоское. Павлыш медленно приблизился к белому. Наклонил голову, чтобы осветить его ярче. Оказалась просто тряпка. Белая тряпка, хрупкая в вакууме. Павлыш занес над ней ногу, чтобы перешагнуть, но, видно, нечаянно дотронулся до нее, и тряпка рассыпалась в пыль.

— Жалко, — сказал он.

— Что случилось? — спросил Даг.

— Занимайся своими делами, — сказал Павлыш. — А то вообще отключусь.

— Попробуй только. Сейчас же прилечу за тобой. План не забудь.

— Не забыл, — сказал Павлыш, отмечая на плане люк.

За люком коридор расширился, в стороны отбегали его ветви. Но Павлыш даже пока не стал отмечать их. Выбрал центральный, самый широкий путь. Он привел его еще к одному люку, закрытому наглухо.

— Вот и все на сегодня, — сказал Павлыш.

Даг молчал.

— Ты чего молчишь? — спросил Павлыш.

— Не мешаю тебе беседовать с самим собой.

— Спасибо. Я дошел до закрытого люка.

— Не спеши открывать, — сказал Даг.

Павлыш осветил стену вокруг люка. Заметил выступающий квадрат и провел по нему перчаткой.

Люк легко отошел в сторону, и Павлыш прижался к стене. Но ничего не произошло.

Вдруг ему показалось, что сзади кто-то стоит. Павлыш резко обернулся, полоснул лучом света по коридору. Пусто. Подвели нервы. Он ничего не стал говорить Дагу и переступил через порог.

Павлыш оказался в обширной камере, вдоль стен шли полки, на некоторых стояли ящики. Он заглянул в один из них. Ящик был на треть наполнен пылью. Что в нем было раньше, угадать невозможно.

В дальнем углу камеры фонарь поймал лучом еще одну белую тряпку. Павлыш решил к ней не подходить. Лучше потом взять консервант, на Земле интересно будет узнать, из чего они делали материю. Но когда Павлыш уже отводил луч фонаря в сторону, ему вдруг показалось, что на тряпке что-то нарисовано. Может, только показалось? Он сделал шаг в том направлении. Черная надпись была видна отчетливо. Павлыш наклонился. Присел на корточки.

«Меня зовут Надежда» — было написано на тряпке. По-русски.

Павлыш потерял равновесие, и рука дотронулась до тряпки. Тряпка рассыпалась. Исчезла. Исчезла и надпись.

— Меня зовут Надежда, — повторил Павлыш.

— Что? — спросил Даг.

— Здесь было написано: «Меня зовут Надежда», — сказал Павлыш.

— Да где же?

— Уже не написано, — сказал Павлыш. — Я дотронулся, и она исчезла.

— Слава, — сказал Даг тихо. — Успокойся.

— Я совершенно спокоен, — сказал Павлыш.

До того момента корабль оставался для Павлыша фантомом, реальность которого была условна, словно задана правилами игры. И, даже нанося на план — пластиковую пластинку, прикрепленную к кисти левой руки, — сетку коридоров и люки, он за рамки этой условности не выходил. Он был подобен разумной мыши в лабораторном лабиринте. В отличие от мыши настоящей Павлыш знал, что лабиринт конечен и определенным образом перемещается в космическом пространстве, приближаясь к солнечной системе.

Рассыпавшаяся записка нарушала правила, ибо никак, никаким самым сказочным образом оказаться здесь не могла и потому приводила к единственному разумному выводу: ее не было. Так и решил Даг. Так и решил бы Павлыш, оказавшись на его месте. Но Павлыш не мог поменяться местами с Дагом.

— Именно Надежда? — спросил Даг.

— Да, — ответил Павлыш.

— Учти, Слава, — сказал Даг. — Ты сам физиолог. Ты знаешь. Может, лучше мы тебя заменим? Или вообще оставим корабль без присмотра.

— Все нормально, — сказал Павлыш. — Не беспокойся. Я пошел за консервантом.

— Зачем?

— Если встретится еще одна записка, я ее сохраню для тебя.

Совершая недолгое путешествие к своей каюте, извлекая консервант из ящика со всякими разностями, собранными аккуратным Сато, он все время старался возобновить в памяти тряпку или листок бумаги с надписью. Но листок не поддавался. Как лицо любимой женщины: ты стараешься вспомнить его, а память рождает лишь отдельные, мелкие, никак не удовлетворяю-

щие тебя детали — прядь над ухом, морщинку на лбу. К тому времени, как Павлыш вернулся в камеру, где его дожидала (он уже начал опасаться, что исчезнет) горстка белой пыли, уверенность в записке пошатнулась. Разум старался оградить его от чудес.

— Что делаешь? — спросил Даг.

— Ищу люк, — сказал Павлыш. — Чтобы пройти дальше.

— А как это было написано? — спросил Даг.

— По-русски.

— А какой почерк? Какие буквы?

— Буквы? Буквы печатные, большие.

Он отыскал люк. Люк открылся легко. Это было странное помещение. Разделенное перегородками на отсеки разного размера, формы. Некоторые из них были застеклены, некоторые отделены от коридора тонкой сеткой. Посреди коридора стояло полушарие, похожее на высокую черепаху, сантиметров шестьдесят в диаметре. Павлыш дотронулся до него, и полушарие с неожиданной легкостью покатилося вдоль коридора, словно под ним скрывались хорошо смазанные ролики, ткнулось в стенку и замерло. Луч фонаря выхватывал из темноты закоулки и ниши. Но все они были пусты. В одной грудой лежали камни, в другой — обломки дерева. А когда он присмотрелся, обломки показались похожими на остатки какого-то большого насекомого. Павлыш продвигался вперед медленно, поминутно докладывая на корабль о своем прогрессе.

— Понимаешь, какая штука, — слышался голос Дага. — Можно утверждать, что корабль оставлен лет сорок назад.

— Может, тридцать?

— Может, и пятьдесят. Мозг дал предварительную сводку.

— Не надо стараться, — сказал Павлыш. — Даже

тридцать лет назад мы еще не выходили за пределы системы.

— Знаю, — ответил Даг. — Но я еще проверю. Если только у тебя нет галлюцинаций.

Проверять было нечего. Тем более что они знали — корабль, найденный ими, шел не от Солнца. По крайней мере, много лет он приближался к нему. А перед этим должен был удаляться. А сорок, пятьдесят лет назад люди лишь осваивали Марс и высаживались на Плутоне. А там, за Плутоном, лежал неведомый, как заморские земли для древних, космос. И никто в этом космосе не умел говорить и писать по-русски...

Павлыш перебрался на следующий уровень, попытался распутаться в лабиринтах коридоров, ниш, камер. Через полчаса он сказал:

— Они были барахольщиками.

— А как Надежда?

— Пока никак.

Возможно, он просто не замечал следов Надежды, проходил мимо. Даже на Земле, стоит отойти от стандартного мира аэродромов и больших городов, теряешь возможность и право судить об истинном значении встреченных вещей и явлений. Тем более непонятен был смысл предметов чужого корабля. И полушарий, легко откатывающихся от ног, и ниш, забитых вещами и приборами, назначение которых было неведомо, переплетения проводов и труб, ярких пятен на стенах и решеток на потолке, участков скользкого пола и лопнувших полупрозрачных перепонок. Павлыш так и не мог понять, какими же были хозяева корабля, — то вдруг он попадал к помещению, в котором обитали гиганты, то вдруг оказывался перед камеркой, рассчитанной на гномов, потом выходил к замерзшему бассейну, и чудились продолговатые тела, вмерзшие в мутный лед. Потом он оказался в обширном зале, дальняя стена которого

представляла собой машину, усеянную слепыми экранами, и ряды кнопок на ней размещались и у самого пола, и под потолком, метрах в пяти над головой.

Эта нелогичность, непоследовательность окружающего мира раздражала, потому что никак не давала построить хотя бы приблизительно рабочую гипотезу и нанизывать на нее факты — именно этого требовал мозг, уставший от блуждания по лабиринтам.

За редкой (впору пролезть между прутьями) решеткой лежала черная, высохшая в вакууме масса. Вернее всего, когда-то это было живое существо ростом со слона. Может быть, один из космонавтов? Но решетка отрезала его от коридора. Вряд ли была нужда прятаться за решетки. На секунду возникла версия, не лишенная красочности: этого космонавта наказали. Посадили в тюрьму. Да, на корабле была тюрьма. И когда срочно надо было покинуть корабль, его забыли. Или не захотели взять с собой.

Павлыш сказал об этом Дагу, но тот возразил:

— Спасательный катер был рассчитан на куда меньших существ. Ты же видел эллинг.

Даг был прав.

На полу рядом с черной массой валялся пустой сосуд, круглый, сантиметров пятнадцать в диаметре.

А еще через полчаса, в следующем коридоре, за закрытым, но не запертым люком Павлыш отыскал каюту, в которой жила Надежда.

Он не стал заходить в каюту. Остановился на пороге, глядя на аккуратно застланную серой материей койку, на брошенную на полу косынку, застиранную, ветхую, в мелкий розовый горошек, на полку, где стояла чашка с отбитой ручкой. Потом, возвращаясь в эту комнату, он с каждым разом замечал все больше вещей, принадлежавших Надежде, находил ее следы и в других помещениях корабля. Но тогда, в первый раз, за-

помнил лишь розовый горошек на платке и чашку с отбитой ручкой. Ибо это было куда более невероятно, чем тысячи незнакомых машин и приборов.

— Все в порядке, — сказал Павлыш. Он включил распылитель консерванта, чтобы сохранить все в каюте таким, как было в момент его появления.

— Ты о чем? — спросил Даг.

— Нашел Надежду.

— Что?

— Нет, не Надежду. Я нашел, где она жила.

— Ты серьезно?

— Совершенно серьезно. Здесь стоит ее чашка. И еще она забыла косынку.

— Знаешь, — сказал Даг, — я верю, что ты не сошел с ума. Но все-таки я не могу поверить.

— И я не верю.

— Ты представь себе, — сказал Даг, — что мы высадились на Луне и видим сидящую там девушку. Сидит и вышивает, например.

— Примерно так, — согласился Павлыш. — Но здесь стоит ее чашка. С отбитой ручкой.

— А где Надежда? — спросил Сато.

— Не знаю, — сказал Павлыш. — Ее давно здесь нет.

— А что еще? — спросил Даг. — Ну скажи что-нибудь. Какая она была?

— Она была красивая, — сказал Сато.

— Конечно, — согласился Павлыш. — Очень красивая.

И тут Павлыш за койкой заметил небольшой ящик, заполненный вещами. Словно Надежда собиралась в дорогу, но что-то заставило ее бросить добро и уйти так, с пустыми руками.

Павлыш опрыскивал вещи консервантом и складывал на койке. Там была юбка, сшитая из пластика тол-

стыми нейлоновыми нитками, мешок с прорезью для головы и рук, шаль или накидка, сплетенная из разноцветных проводов...

— Она здесь долго прожила, — сказал Павлыш.

На самом дне ящика лежала кipa квадратных белых листков, исписанных ровным, сильно наклоненным вправо почерком. И Павлыш заставил себя не читать написанного на них, пока не закрепил их и не убедился, что листки не рассыплются под пальцами. А читать их он стал, только вернувшись в свою каюту, где мог снять скафандр, улечься на надувной матрас и включить на полную мощность освещение.

— Читай вслух, — попросил Даг, но Павлыш отказался. Он очень устал. Он пообещал, что обязательно прочтет им самые интересные места. Но сначала проглядит сам. Молча. И Даг не стал спорить.

4

— «Я нашла эту бумагу уже два месяца назад, но никак не могла придумать, чем писать на ней. И только вчера догадалась, что совсем рядом, в комнате, за которой следит глупышка, собраны камни, похожие на графит. Я заточила один из них. И теперь буду писать». (На следующий день в каюте Надежды Павлыш увидел на стене длинные столбцы царапин и догадался, как она вела счет дням.)

— «Мне давно хотелось писать дневник, потому что я хочу надеяться, что когда-нибудь, даже если я и не доживу до этого светлого дня, меня найдут. Ведь нельзя же жить совсем без надежды. Я иногда жалею, что я неверующая. Я бы смогла надеяться на бога и думать, что это все — испытание свыше».

На этом кончался листок. Павлыш понял, что лист-

ки лежали в стопке по порядку, но это не значило, что Надежда вела дневник день за днем. Иногда, наверно, проходили недели, прежде чем она вновь принималась писать.

— «Сегодня они суетятся. Стало тяжелее. Я опять кашляла. Воздух здесь все-таки мертвый. Наверно, человек может ко всему привыкнуть. Даже к неволе. Но труднее всего быть совсем одной. Я научилась разговаривать вслух. Сначала стеснялась, неловко было, словно кто-нибудь может меня подслушать. Но теперь даже пою. Мне бы надо записать, как все со мной произошло, потому что не дай бог кому-нибудь оказать-ся на моем месте. Только сегодня мне тяжело, и когда я пошла в огород, то по дороге так запыхалась, что присела прямо у стенки, и глупышки меня притащили обратно чуть живую».

Дня через два Павлыш нашел то, что Надежда называла огородом. Это оказался большой гидропонный узел. И нечто вроде ботанического сада.

— «Я пишу сейчас, потому что все равно пойти никуда не смогу, да глупышки и не пустят. Наверно, надо ждать прибавления нашему семейству. Только не знаю уж, увижу ли я...»

Третий листок был написан куда более мелким почерком, аккуратно. Надежда сэкономила бумагу.

— «Если когда-нибудь попадут сюда люди, пусть знают про меня следующее. Мое имя-отчество-фамилия Сидорова Надежда Матвеевна. Год рождения 1923-й. Место рождения — Ярославская область, село Городище. Я окончила среднюю школу в селе, а затем собиралась поступать в институт, но мой отец, Матвей Степанович, скончался, и матери одной было трудно работать в колхозе и управляться по хозяйству. Поэтому я стала работать в колхозе, хотя и не оставила надежды получить дальнейшее образование. Когда подросли мои

сестры Вера и Валентина, я исполнила все-таки свою мечту и поступила в медицинское училище в Ярославле, и кончила его в 1942 году, после чего была призвана в действующую армию и провела войну в госпиталях в качестве медсестры. После окончания войны я вернулась в Городище и поступила работать в местную больницу в том же качестве. Я вышла замуж в 1948 году, мы переехали на жительство в Калязин, а на следующий год у меня родилась дочь Оленька, однако мой муж, Николай Иванов, шофер, скончался в 1953 году, попав в аварию. Так мы и остались одни с Оленькой».

Павлыш сидел на полу, в углу каморки, затянутой белым тентом. Автобиографию Надежды он читал вслух. Почерк разбирать было несложно — писала она аккуратно, круглыми, сильно наклоненными вправо буквами, лишь кое-где графит осыпался, и тогда Павлыш наклонял листок, чтобы разобрать буквы по вмятинам, оставленным на листке. Он отложил листок и осторожно поднял следующий, рассчитывая найти на нем продолжение.

— Значит, в пятьдесят третьем году ей уже было тридцать лет, — сказал Сато.

— Читай дальше, — сказал Даг.

— Здесь о другом, — сказал Павлыш. — Сейчас прочту сам.

— Читай сразу, — Даг обижался. И Павлыш подумал вдруг, как давно Даг ему не завидовал и как вообще давно они друг другу не завидовали.

— «Сегодня притащили новых. Они их поместили на нижний этаж, за пустыми клетками. Я не смогла увидеть, сколько всего новеньких. Но по-моему, несколько. Глупышка закрыл дверь и меня не пустил. Я вдруг поняла, что очень им завидую. Да, завидую несчастным, оторванным навсегда от своих семей и дома, заключенным в тюрьму за грехи, которых они не совершали.

Но ведь их много. Может, три, может, пять. А я совсем одна. Время здесь идет одинаково. Если бы я не при-
выкла работать, то давно б уже померла. И сколько
лет я здесь? По-моему, пошел четвертый год. Надо бу-
дет проверить, посчитать царапинки. Только я боюсь,
что сбилась со счета. Ведь я не записывала, когда бо-
лела, и только мысль об Оленьке мне помогла выбрать-
ся с того света. Ну что же, займусь делом. Глупышка
принес мне ниток и проволоки. Они ведь что-то пони-
мают. А иголку я нашла на третьем этаже. Хоть глупы-
шка и хотел ее у меня отобрать. Испугался, беднень-
кий».

— Ну? — спросил Даг.

— Все я читать все равно не смогу, — ответил Пав-
лыш. — Погодите. Вот тут вроде бы продолжение.

— «Я потом разложу листки по порядку. Мне все
кажется, что кто-то прочтет эти листки. Меня уже не
будет, прах мой разлетится по звездам, а бумажки вы-
живут. Я очень прошу тебя, кто будет это читать, разы-
щи мою дочку Ольгу. Может, она уже взрослая. Скажи
ей, что случилось с матерью. И хоть ей мою могилку
никогда не отыскать, все-таки мне легче так думать.
Если бы мне когда-нибудь сказали, что я попаду в
страшную тюрьму, буду жить, а все будут думать, что
меня давно уж нет, я бы умерла от ужаса. А ведь живу.
Я очень надеюсь, что Тимофей не подумает, что я бро-
сила девочку ему на руки и убежала искать легкой
жизни. Нет, скорее всего они обыскали всю протоку,
решили, что я утонула. А тот вечер у меня до конца
дней останется перед глазами, потому что он был не-
обыкновенный. Совсем не из-за беды, а наоборот. Тогда
в моей жизни должно было что-то измениться... А из-
менилось совсем не так».

— Нет, — сказал Павлыш, откладывая листок. —
Тут личное.

— Что личное?

— Здесь о Тимофее. Мы же не знаем, кто такой Тимофей. Какой-то ее знакомый. Может, из больницы. Погодите, поищу дальше.

— Как ты можешь судить! — воскликнул Даг. — Ты в спешке обязательно упустишь что-то главное.

— Главное я не упущу, — ответил Павлыш. — Этим бумажкам много лет. Мы не можем искать ее, не можем спасти. С таким же успехом мы могли бы читать клинопись. Разница не принципиальная.

— «После смерти Николая я осталась с Оленькой совсем одна. Если не считать сестер. Но они были далеко, и у них были свои семьи и свои заботы. Жили мы не очень богато, я работала в больнице и была назначена весной 1956 года старшей сестрой. Оленька должна была идти в школу, в первый класс. У меня были предложения выйти замуж, в том числе от одного врача нашей больницы, хорошего, правда, пожилого человека, но я отказала ему, потому что думала, что молодость моя все равно прошла. Нам и вдвоем с Оленькой хорошо. Мне помогал брат мужа Тимофей Иванов, инвалид войны, который работал лесником недалеко от города. Несчастье со мной произошло в конце августа 1956 года. Я не помню теперь числа, но помню, что случилось это в субботу вечером... Обстоятельства к этому были такие. У нас в больнице выдалось много работы, потому что было время летних отпусков и я подменяла других сотрудников. Оленьку, к счастью, как всегда, взял к себе пожить Тимофей в свой домик. А я приезжала туда по субботам на автобусе, потом шла пешком, и очень хорошо отдыхала, если выдавалось свободное воскресенье. Его дом расположен в сосновом лесу недалеко от Волги».

Павлыш замолчал.

— Ну, что дальше? — спросил Даг.

— Погодите, ищу листок.

— «Я постараюсь описать то, что было дальше, со всеми подробностями, потому что как работник медицины понимаю, какое большое значение имеет правильный диагноз, и кому-нибудь эти все подробности понадобятся. Может быть, мое описание, попади оно в руки к специалисту, поможет разгадать и другие похожие случаи, если они будут. В тот вечер Тимофей и Оленька проводили меня до реки мыть посуду. В том месте дорога, которая идет от дома к Волге, доходит до самой воды. Тимофей хотел меня подождать, но я боялась, что Оленьке будет холодно, потому что вечер был нетеплый, и попросила его вернуться домой, а сама сказала, что скоро приду. Было еще не совсем темно, и минуты через три-четыре после того, как мои родные ушли, я услышала тихое жужжание. Я даже не испугалась сначала, потому что решила, что по Волге, далеко от меня, идет моторка. Но потом меня охватило неприятное чувство, словно предчувствие чего-то плохого. Я посмотрела на реку, но никакой моторки не увидела...»

Павлыш нашел следующий листок.

— «...но увидела, что по направлению ко мне чуть выше моей головы летит воздушная лодка, похожая на подводную лодку без крыльев. Она показалась мне серебряной. Лодка снижалась прямо передо мной, отрезая меня от дороги. Я очень удивилась. За годы войны я повидала разную военную технику и сначала решила, что это какой-то новый самолет, который делает вынужденную посадку, потому что у него отказал мотор. Я хотела отойти в сторону, спрятаться за сосну, чтобы, если будет взрыв, уцелеть. Но лодка выпустила железные захваты, и из нее посыпались глупышки. Тогда я еще не знала, что это глупышки, но в тот момент сознание у меня помутнело, и я, наверно, упала...»

— Дальше что? — спросил Даг, когда пауза затянулась.

— Дальше все, — ответил Павлыш.

— Ну что же было?

— Она не пишет.

— Так что же она пишет, в конце концов?

Павлыш молчал. Он читал про себя.

«Я знаю дорогу на нижний этаж. Там есть путь из огорода, и глупышки за ним не следят. Мне очень захотелось поглядеть на новеньких. А то все мои соседи неразумные. К дракону в клетку я научилась заходить. Раньше боялась. Но как-то посмотрела, чем его кормят глупышки, и это все были травы с огорода. Тогда я и подумала, что он меня не съест. Может, я долго бы к нему не заходила, но как-то шла мимо и увидела, что он болен. Глупышки суетились, подкладывали ему еду, мерили что-то, трогали. А он лежал на боку и тяжело дышал. Тогда я подошла к самой решетке и присмотрелась. Ведь я медик, и мой долг облегчать страдания. Глупышкам я помочь не смогла бы — они железные. А дракона осмотрела, хоть и через решетку. У него была рана — наверно, хотел выбраться, побился о решетку. Силы в нем много — умом бог обидел. Я тут стала отчаянная — жизнь не дорога. Думаю: он ко мне привык. Ведь он еще раньше меня сюда попал — уже тысячу раз видел. Я глупышкам сказала, чтобы они не мешали, а принесли воды, теплой. Я, конечно, рисковала. Ни анализа ему не сделать, ничего. Но раны загноились, и я их промыла, перевязала как могла. Дракон не сопротивлялся. Даже поворачивался, чтобы мне было удобнее».

Следующий листок, видно, попал сюда снизу пачки и не был связан по смыслу с предыдущими.

«Сегодня села писать, а руки не слушаются. Птица

вырвалась наружу. Глупышки носились за ней по коридорам, ловили сетью. Я тоже хотела поймать ее, боялась, что разобьется. Но зря старалась. Птица вылетела в большой зал, ударилась с лету о трубу и упала. Я потом, когда глупышки тащили ее в свой музей, подобрала перо, длинное, тонкое, похожее на ковыль. Я и жалела птицу, и завидовала ей. Вот нашла все-таки в себе силу погибнуть, если уж нельзя вырваться на свободу. Еще год назад такой пример мог бы на меня оказать решающее влияние. Но теперь я занята. Я не могу себя потратить зря. Пускай моя цель нерезальная, но все-таки она есть. И вот, такая расстроенная и задумчивая, я пошла за глупышками, и они забыли закрыть за собой дверь в музей. Туда я не попала — там воздуха нет, — но заглянула через стеклянную стенку. И увидела банки, кубы, сосуды, в которых глупышки хранят тех, кто не выдержал пути: в формалине или в чем-то похожем. Как уродцы в Кунсткамере в Ленинграде. И я поняла, что пройдет еще несколько лет, и меня, мертвую, не сожгут и не похоронят, а поместят в стеклянную банку на любование глупышкам или их хозяевам. И стало горько. Я Балю об этом рассказала. Он только поежился и дал мне понять: того же боится. Сижу над бумагой, а представляю себя в стеклянной банке, заспиртованную».

Потом, уже через несколько дней, Павлыш отыскал музей. Космический холод заморозил жидкость, в которой хранились экспонаты. Павлыш медленно шел от сосуда к сосуду, всматриваясь в лед сосудов покрупнее. Боялся найти тело Надежды. А в ушах перебивали друг друга нетерпеливо Даг и Сато: «Ну как?» Павлыш разделял страх Надежды. Лучше что угодно, чем банка с формалином. Правда, он отыскал банку с птицей — радужным эфемерным созданием с длинным хвостом и большеглазой, без клюва головой. И еще нашел банку,

в которой был Баль. Об этом рассказано в следующих листках.

«Я все сбиваюсь в своем рассказе, потому что происходящее сегодня важнее, чем прошедшие годы. Вот и не могу никак описать мое приключение по порядку.

Очнулась я в камерке. Там горел свет, неяркий и неживой. Это не та комната, где я живу сейчас. В камерке теперь свалены ископаемые ракушки, которые глупышки притащили с год назад. За четыре с лишним года мы раз шестнадцать останавливались, и каждый раз начиналась суматоха, и сюда тащили всякие вещи, а то и живых существ. Так вот, в камерке, кроме меня, оказалась посуда, которую я мыла и которая мне потом очень пригодилась, ветки сосны, трава, камни, разные насекомые. Я только потом поняла, что они хотели узнать, чем меня кормить. А тогда я подумала, что весь этот набор случайный. Я есть ничего не стала: не до того было. Села, постучала по стенке — стенка твердая, и вокруг все время слышится жужжание, словно работают машины на пароходе. И кроме того, я ощутила большую легкость. Здесь вообще все легче, чем на Земле. Я читала когда-то, что на Луне сила тяжести тоже меньше, и если когда-нибудь люди полетят к звездам, как учил Циолковский, то они совсем ничего не будут весить. Вот эта маленькая сила тяжести и помогла мне скоро понять, что я уже не на Земле, что меня украли, увезли, как кавказского пленника, и никак не могут довести до места. Я очень надеюсь, что люди, наши, с Земли, когда-нибудь тоже научатся летать в космическое пространство. Но боюсь, что случится это еще не скоро».

Павлыш прочел эти строки вслух. Даг сказал:

— А ведь всего год не дожила до первого спутника.

И Сато поправил его:

— Она была жива, когда летал Гагарин.

— Может быть. Но ей оттого не легче.

— Если бы знала, ей было бы легче, — сказал Павлыш.

— Не уверен, — сказал Даг. — Она бы тогда ждала, что ее освободят. А не дождалась бы.

— Не в этом дело, — сказал Павлыш. — Ей важно было знать, что мы тоже можем.

Дальше он читал вслух, пока не устал.

— «Они мне принесли поесть и стояли в дверях, смотрели, буду есть или нет. Я попробовала — странная каша, чуть солоноватая, скучная еда. Но тогда я была голодная и как будто оглушенная. Я все смотрела на глупышек, которые стояли в дверях, как черепахи, и просила, чтобы они позвали их начальника. Я не знала тогда, что их начальник — Машина — во всю стену дальнего зала. А что за настоящие хозяева, какие они из себя, до сих пор не знаю, отправили этот корабль в путь с одними железными автоматами. Потом я думала, как они догадались, какая пища мне не повредит. И ломала себе голову, пока не попала в их лабораторию и не догадалась, что они взяли у меня, пока я была без сознания, кровь и провели полное исследование организма. И поняли, чего и в каких пропорциях мне нужно, чтобы не помереть с голоду. А что такое вкусно, они не знают. Я на глупышек давно не сержусь. Они, как солдаты, выполняют приказ. Только солдаты все-таки думают. Они не могут. Я все первые дни проплакала, просилась на волю и никак не могла понять, что до воли мне лететь и лететь. И никогда не долететь.

...У меня вдруг появилось беспокойство. Это, наверно, из-за того, что я теперь не одна. Такое создается впечатление, что скоро случатся изменения. Не знаю уж, к лучшему ли. Только к худшему изменяться некуда. Сегодня снилась мне Оленька, и я во сне удивлялась, почему она не растет, почему бегаёт такая маленькая.

Ведь ей пора бы и вырасти. А она только смеялась. Я, когда проснулась, очень встревожилась. Не значит ли это, что Оленьки уже нет на свете? Раньше я никогда не верила предчувствиям. Даже на фронте. Насмотрелась на обманчивые предчувствия. А теперь вот весь день не могла себе места найти. Я потом подумала еще вот о чем: а откуда я решила, что я правильно считаю дни? Я ведь царапинку делаю, когда встаю утром? А если не утром? Может, я теперь чаще сплю. Или реже. Ведь не угадаешь. Здесь всегда одинаково. И я подумала, что, может, прошло не четыре года, а только два. Или один. А может, и наоборот — пять, шесть, семь лет? Сколько же лет сейчас Оле? А мне сколько? Может, я уже старуха? Я так переволновалась, что побежала к зеркалам. Это, конечно, не зеркала. Они чуть выпуклые, круглые, похожие на экраны телевизоров. Иногда по ним пробегают зеленые и синие зигзаги. Других зеркал у меня нет. Я долго всматривалась в экраны. Даже глупышки, которые там дежурили, стали сигналить мне — что нужно? Я только отмахнулась. Прошли те времена, когда я их звала палачами, мучителями, фашистами. Теперь я их не боюсь. Я боюсь только Машину. Начальника. Я долго смотрелась в зеркала, переходила от одного к другому, искала то, что посветлее. И ничего решить не смогла. Вроде бы это я — и нос такой же, глаза провалились, и лицо кажется синее. Но это, вернее всего, от самого зеркала. Мешки, правда, под глазами. И я вернулась в комнату».

— Это крайне интересно, — сказал Даг. — Ты как, Павлыш, думаешь?

— Что?

— Об этой проблеме. Изолируй человека на несколько лет так, чтобы он не знал о ходе времени вне его помещения. Изменится ли биологический цикл?

— Я сейчас не об этом думаю, — сказал Павлыш.

— «Я вдруг вспомнила о котенке. Совсем забыла. А сегодня вспомнила. Они котенка откуда-то достали. С Земли, конечно. Он пищал и мяукал. Это было в первые дни. Пищал он в соседней каморке, и глупышки все туда бегали, никак не могли догадаться, что ему молоко нужно. Я тогда совсем робкая была, и они меня привели к нему, к котенку, думали, что я смогу помочь. Но я же не могла объяснить им, что такое молоко. А видно, в их искусственной пище чего-то не хватало. Я с котенком возилась три дня. Кашу водой разбавляла, в этой заботе забывала даже о своем горе. Но котенок сдох. Видно, человек куда выносливей зверя, хоть и говорят, что у кошки восемь жизней. Я-то живу. Наверно, котенок тоже у них в музее лежит. Теперь я бы нашла, чем его кормить. Я знаю ход в их лабораторию. И глупышки ко мне по-другому относятся. Привыкли. А дракон совсем плох. Видно, скоро умрет. Я у него вчера просидела долго, снова промыла раны. А он совсем ослаб. Я с ним сделала открытие. Оказывается, дракон может каким-то образом влиять на мои мысли. Не то чтобы я понимала его, но, когда ему больно, я это чувствую. Я знаю, что он рад моему приходу. И я жалею теперь, что раньше не обращала на него внимания — боялась. Ведь, может быть, он такой же, как я. Также пленник. Только еще более несчастный. Его все эти годы держали в клетке. Может, этот дракон — медсестра в больнице на какой-то очень далекой планете. И так же приехала эта дракониха проведать свою дочку. И попала в наш зоопарк. И прожила в нем много лет в клетке. И все хотела втолковать глупышкам, что она не глупее их. Так и умрет, не втолковав. Я, значит, сначала улыбнулась, а потом расплакалась. Вот и сижу реву, а мне идти пора, ждут.

И все-таки, если я думаю о драконе, то думаю, что моя судьба лучше. Я хоть пользуюсь какой-то свободой.

И пользовалась ею с самого начала. С тех пор, как помер котенок. Я много думала, почему так получилось, что все остальные пленники — сколько их тут есть (за перегородками на остальных этажах воздух другой — туда мне не пройти, и там тоже, наверно, есть пленники) — сидят взаперти. Лишь я довольно свободно разгуливаю по этажам. Почему-то они решили, что я им не опасна. Может быть, их хозяева на меня похожи. Доверили мне котенка. Пустили в огород и показали, где семена. В лабораторию мне можно ходить. Даже слушаются меня глупышки. Тот, кто эти листки будет читать, наверно, удивится, что за глупышки? Это я железных черепках так называю. Как узнала, что они машинки, что они простых вещей не понимают, так и стала их звать глупышками. Для себя. Но все равно, если задуматься, жизнь моя ненамного лучше тех, кто в клетках. И в камерах. Просто моя тюрьма обширнее, чем у них. Вот и все. Я же пыталась через глупышек объяснить Машине, начальнику, что это чистое преступление — хватать живого человека и держать его так. Я хотела им объяснить, что лучше им связаться с нами, с Землей. Но потом я убедилась, что, кроме машин, здесь никого нет. А машинам дан приказ — летайте по вселенной, собирайте, что встретится на пути, потом доложите. Только уж очень долгий обратный путь. Я еще надеюсь, что доживу, а дожив, встречу с ними и все им выложу. А может, они и не знают, что где-нибудь, кроме их планеты, есть разумные люди?»

Когда Павлыш кончил читать этот листок, Даг сказал:

— В общем, она рассуждала довольно логично.

— Конечно, это был исследовательский автомат, — сказал Павлыш. — Но есть тут одна загадка. И Надежда ее уловила.

— Загадка? — спросил Сато.

— Мне кажется странным, — сказал Павлыш, — что такой громадный корабль, посланный в дальний поиск, не имеет никакой связи с базой, с планетой. Видно, летит он много лет. И за это время информация устаревает.

— Я не согласен, — сказал Даг. — Представь, что таких кораблей несколько. Каждому выделен сектор Галактики. И пускай они летят много лет. Неважно. Ведь органическую жизнь они обнаружат дай бог на одном мире из тысячи. Вот они свозят информацию. Что такое сто лет для цивилизации, которая может рассылать разведчиков? А потом уж они на досуге рассмотрят трофеи и решат, куда посылать экспедицию.

— И они хватают все, что попадется? — спросил Сато, не скрывая неприязни к хозяевам корабля.

— А какие критерии могут быть у автоматов, чтобы определить, разумное ли существо им попало?

— Ну, Надежда, например, была одета. Они видели наши города.

— Неубедительно, — сказал Павлыш. — И где гарантия, что в мире икс разумные существа не ходят голыми и не одевают в платья своих домашних животных.

— И шансы на то, что они выловят именно разумное существо, столь малы, — добавил Даг, — что ими они, наверно, просто пренебрегают. В любом случае они стремятся сохранить живьем все свои трофеи.

— Разговор пустой, — подытожил Павлыш, поднимая следующий листок. — Мы пока ничего не знаем о тех, кто послал корабль. И не знаем, что они думали при этом. В известной нам части Галактики ничего подобного нет. Значит, они издалека. Мы знаем только, что они были у нас, но по какой-то причине не вернулись домой.

— Может, это и к лучшему, — сказал Даг.

Остальные промолчали.

«Как-нибудь потом, будет время, напишу о моих первых годах в тюрьме. Сейчас многое уже кажется туманным, далеким — и ужас мой, и отчаяние, и то, как я искала выход отсюда, думала даже, что заберусь к ним в центр и поломаю все их машины. Пускай мы разобьемся. Это в то время я так думала, когда боялась, что они снова прилетят к нам на Землю и натворят что-нибудь плохое. Но я поняла, что с их кораблем мне не справиться. Наверно, тут сто инженеров не поймут, что к чему. А сейчас мне пора вернуться к тем событиям, которые произошли уже не так давно, месяцы, недели назад, уже после того, как я раздобыла бумагу и начала писать дневник. Новые пленники, которых подобрали в последний раз, попали на мой этаж, наверно, потому, что у нас с ними одинаковый воздух. Их поддерживали сначала в карантине, на другом этаже, а потом отправили в камеры недалеко от моих владений. Меня одолела надежда, что вдруг это тоже люди или кто-нибудь хотя бы похожий. Но когда я их увидела — подсмотрела, как глупышки завозили в камеру еду, поняла, что опять для меня сплошное разочарование. Я как-то видела в Ярославле, в магазине, продавали трепангов. Я тогда подумала: бывает же гадость, и как только люди едят? Другие покупатели в магазине так же реагировали. Новенькие животные оказались похожими на таких трепангов. Было их в камере двое, росточком они с собаку, скользкие и отвратительного вида. Я расстроилась и ушла к себе. Даже записывать ничего в дневник о них не стала. На другой день все рассказала моей драконихе, но она, конечно, ничего не поняла. Если бы я не ждала чего-то, легче было бы перенести такое разочарование. Этих трепангов из камер не выпускали. Я скоро уже поняла, что их всего пятеро — двое в камере, а трое в клетке, за железной две-

рю. Их пишу я тоже вскоре увидела, потому что глупышки мой огород потеснили, разводили в лоханках какую-то плесень, словно живая, она шевелится, и вонь от нее неприятная. И эту плесень таскали трепангам.

...Что-то опять плохо стало драконихе. Я уж в лаборатории опыты развела. Посмотрел бы на меня Иван Акимович из нашей больницы. Он мне все советовал пойти учиться. Говорил, что из меня получится врач, потому что у меня развита интуиция. Но жизнь меня засосала, я осталась неучем. О чем сильно теперь жалею. Правда, мне не раз приходилось замещать лаборантку, и я умела делать анализы и ассистировать при операциях: маленькая больница — хорошая школа, всем бы молодым медикам советовала через нее пройти. Но разве здесь мои знания могли пригодиться?»

— Ты чего молчишь? — спросил Даг. — Пропускаешь?

— Все сам прочтешь. Я хочу добраться до сути, — ответил Павлыш.

«Хоть я испытывала отвращение к трепангам, но понимала, что отвращение мое несправедливое. Ничего они мне плохого не сделали. И тем более я уже привыкла жить среди таких чудес и уродцев, что и во сне не приснятся. Посчитать мои дни здесь — такая получается бесконечная и одинаковая цепочка, что страшно делается. А вдуматься, то получится, что каждый день узнаю что-нибудь, смотрю, думаю. До чего же человек выносливое существо! Ведь и я кому-то кажусь страшным уродом. Может, даже и моей драконихе.

Наверно, эти трепанги могут думать. Такое решение мне пришло в голову, когда я увидела, что, стоит мне пройти мимо их клетки, они за мной следят и двигаются. Как-то я шла с огорода с пучком редиски — редиска хилая, вялая, но все-таки витамины. Один трепанг возился у самой решетки. Мне показалось, что он

старается сломать замок. Что же, подумала я, ведь и мне такое приходило в голову. В первые дни, когда я сидела взаперти, и в те дни, когда меня запирали, потому что приближались к другим планетам. Подумала и даже остановилась. Ведь что же это получается? Как я. Значит, думают? А трепанг, как увидел меня, зашипел и отполз внутрь. Но не успел, потому что один из глупышек был неподалеку (я-то его не видела, привыкла не замечать), и он ударил трепанга током. Такое у них наказание. Трепанг съежился. Я на глупышку прикрикнула и хотела дальше пойти, но тут и мне досталось. Да так сильно он меня ударил током, что я даже упала и рассыпала редиску. Видно, он хотел мне показать, что с этими, с трепангами, мне делать нечего. Я поднялась кое-как — суставы последнее время побаливают — и ушла к себе. Сколько живу здесь, а не могу привыкнуть, что я для них все-таки как кролик в лаборатории. В любой момент они могут меня убить и в музей, в банку. И ничего им за это не будет. Я зубы стиснула и ушла.

...Потом-то оказалось, что этот удар током мне даже помог. Трепанги сначала думали, что я одна из их хозяев. Приняли даже меня за главную. И если бы не глупышкино наказание, меня бы считали за врага. А так, прошло дня три, иду я мимо них опять дракониху лечить, вижу, один трепанг возится у решетки и шипит. Тихо так шипит. Осмотрелась я — глупышек не видно. «Чего, — спрашиваю, — несладко тебе, милый?» Я за эти дни и к трепангам уже успела привыкнуть, и они не казались мне такими уродами, как в первый день. А трепанг все шипит и пощелкивает. И тогда я поняла, что он со мной говорит. «Не понимаю», — я ему ответила и хотела было улыбнуться, но решила, что не стоит — может, моя улыбка ему покажется хуже волчьего оскала. Он снова шипит. Я ему го-

ворю: «Ну что ты стараешься? Словаря у меня нету. А если ты не ядовитый, то мы с тобой друг друга обязательно поймем». Он замолчал. Слушает. Тут в коридоре показался большой глупышка, с руками как у кузнечика. Уборщик. Я хоть и знала, что такие током не бьют, но поспешила дальше — не хотела, чтобы меня видели перед клеткой. Но обратно шла, снова задержалась, поговорила. Все есть с кем душу отвести. Потом мне пришло в голову; может, им удобнее со мной объясняться по-письменному? Я написала на листке, что меня зовут Надеждой, принесла ему, показала и при этом, что написала, повторяла вслух. Но боюсь, что он не понял. А еще через день случилось столкновение у одного из трепангов с глупышками. Я думаю, что ему удалось открыть замок и его поймали в коридоре. Попал он на уборщиков, и они его сильно помяли, пока других глупышек звали, а он сопротивлялся. Я в коридоре была, услышала шум, побежала туда, но опоздала. Его уже посадили в отдельную камеру, новый замок делали. Вижу — другие трепанги волнуются, беспокоятся в клетках. Я попыталась тогда пробраться в камеру к трепангу, которого отделили. Глупышки не пускают. Током не бьют, но не пускают. Тогда я решила их переупрямить. Встала около двери и стою. Дождалась, пока они дверь откроют, и успела заглянуть внутрь. Трепанг лежит на полу, весь израненный. Тогда я пошла в лабораторию, собрала там свою медицинскую сумку — ведь не в первый раз приходится здесь выступать неотложной помощью — и пошла прямо в камеру. Когда глупышка хотел меня остановить, показала, что у меня в сумке. Глупышка замер. Я уже знала — они так делают, когда советуются с Машиной. Жду. Прошла минута. Вдруг глупышка откатывается в сторону — иди, мол. Я просидела около трепанга часа три. Гоняла глупышек, словно своих санитарок. Они мне и воду принесли, и под-

стилку для трепанга, но одного я добиться не смогла — чтобы привели еще одного трепанга. Ведь свои лучше меня знают, что ему нужно. И самое удивительное, в тот момент, когда глупышек в камере не было, трепанг снова зашипел, и в его шипении я разобрала слова: «Ты чего стараешься?» Я поняла, что он запомнил, как я с ним разговаривала, и старается мне подражать. Вот тогда я первый раз за много месяцев по-настоящему обрадовалась. Ведь он не только подражал, он понимал, что делает.

...Меня удивляло, как быстро они запоминали мои слова, и, хоть им трудно было их произносить — рот у них трубочкой, без зубов, — они очень старались. Я все эти дни и недели жила как во сне. В хорошем сне. Я заметила в себе удивительные изменения. Оказалось, что нет на свете существ приятней, чем трепанги. Поняла, что они красивые, научилась их различать, но, честно скажу, ровным счетом ничего в их шипении и пощелкивании я не понимала. Да и сейчас не понимаю. Я их учила, как только была возможность, — мимо прохожу, слово говорю, разные предметы проношу рядом с клеткой, показываю, и они сразу понимают. Они выучили, как зовут меня, и, как завидят (если рядом глупышек нет), сразу шипят: «Нашешда, Нашешда!» Ну как малые дети! А я узнала на огороде, что они любят. И старалась, чтобы их подкормить. Хоть и еда у них вонючая — так и не привыкла к этому запаху. Глупышки по части трепангов имели строгий наказ Машины — на волю их не отпускать, глаз не сводить, беречь и не доверять. Так что я не могла открыто с ними видаться. А то бы и меня заподозрили. И вот тоже удивительно — сколько я провела здесь времени, и была для глупышек неопасна. Одна была. А вместе с трепангами мы стали силой. И я это чувствовала. И трепанги мне говорили, когда научились по-русски. И вот

наступил такой день, когда я подошла к их клетке и услышала:

— Надежда, надо уходить отсюда.

— Ну куда отсюда уйдешь? — ответила я. — Корабль летит неизвестно куда. Где мы теперь, никому не ясно. Ведь разве мы сможем управлять кораблем?

И тогда трепанг Баль ответил мне:

— Управлять кораблем сможем. Не сейчас. После того, как больше узнаем. И ты нам нужна.

— Смогу ли я? — отвечаю.

Тут они вдвоем заверещали, зашипели на меня, уговаривали. А я только улыbnулась. Я не могла им сказать, что я счастлива. Все равно — вырвемся мы отсюда или нет. Я и трепанги — какой союз! Посмотрела бы Оля на свою старуху мать, как она идет по синему коридору мимо закрытых дверей и клеток и поет песню: «Нам нет преград ни в море, ни на суше!»

— В общем, она нашла единомышленников, — ответил кратко Павлыш на разгневанные требования Дага читать вслух. — Поймите, я же в десять раз быстрее проглядываю эти листки про себя.

— Вот уж... — начал было Даг, но Павлыш уже читал следующий листок.

«Несколько дней я не писала. Некогда было. Это совсем не значит, что я была занята больше, чем всегда, — просто мысли мои были заняты. Я даже постриглась покороче, долго стояла перед темными зеркалами, кромсая скальпелем волосы. За что я отдала бы полжизни — это за уют. Ведь никто меня не видит, никто не знает здесь, что такое гладка, никто, кроме меня, не знает, что такое одежда. А ведь сколько мне пришлось потратить времени, чтобы придумать, из чего шить и чем шить. Хуже, чем Робинзону на необитаемом острове. И вот я стояла перед темным зеркалом и думала, что никогда не приходилось мне ходить в модницах. А уж теперь,

если бы я появилась на Земле, вот бы все удивились — что за ископаемое? Сейчас, по моим расчетам, на Земле идет шестидесятый год. Что там носят женщины? Хотя это где как. В Москве-то, наверно, модниц много. А Калязин — город маленький. Вот я и отвлеклась. Думаю о тряпках. Смешно? А Баль, это мой самый любимый трепанг, ради того, чтобы выучить получше мой язык, пошел на жертву. Порезался чем-то страшно. И глупышки меня на помощь позвали. Я тут у них уже признанная «скорая помощь». Я Баля ругала на чем свет стоит, а не учла, что он памятливым. Вот он теперь все мои ругательства запомнил. Ну, конечно, ругательства не страшные — голова садовая, дурачина-простофиля — такие ругательства. Раз я имею свободу движения по нашей тюрьме, то у меня теперь две задачи — во-первых, держать связь между камерами, в которых сидят трепанги. Во-вторых, проникнуть за линию фронта и разузнать, где что находится. Вот я и вспомнила военные времена».

Следующий листок был коротеньким, написан в спешке, кое-как.

«Дола три раза заставлял меня ходить за перегородку, в большой зал. Я ему рассказывала. Дола главный. Они, видно, решили между собой, что моей помощи им мало. Должен пойти в операторскую Баль. До переборки я его доведу. Дальше у него будет моя бумажка с чертежом. И я останусь у переборки ждать, когда он вернется. Страшно мне за Баля. Глупышки куда шустрее. Пойдет он сейчас — в это время почти все они заняты на других этажах».

Запись на этом обрывалась. Следующая была написана иначе. Буквы были маленькими, строгими.

«Ну вот, случилось ужасное. Я стояла за перегородкой, ждала Баля и считала про себя. Думала, если успеет вернуться прежде, чем я досчитаю до тысячи, —

все в порядке. Но он не успел. Задержался. Замигали лампочки, зажужжало — так всегда бывает, если на корабле непорядок. Мимо меня пробежали глупышки. Я пыталась закрыть дверь, их не пускать, но один меня так током ударил, что я чуть сознание не потеряла. А Баля они убили. Теперь он в музее. Мне пришлось скрываться у себя в комнате, пока все не утихло. Я боялась, что меня запрут, но почему-то меня они всерьез не приняли. Когда я часа через два вышла в коридор, поплелась к огороду — пора было витамины моей драконихе давать, — у дверей к трепангам стояли глупышки. Пришлось пройти, не глядя в ту сторону. Тогда я еще не знала, что Баля убили. Только вечером перекинулась парой слов с трепангами. И Дола сказал, что Баля убили. Ночью я переживала, вспомнила, какой Баль был милый, ласковый, красивый. Не притворялась. В самом деле очень переживала. И еще думала, что теперь все погибло — больше никому в операторскую не проникнуть. А сегодня Дола объяснил мне, что не все потеряно. Они, оказывается, могут общаться, даже совсем не видя друг дружку, разговаривать, пользуясь какими-то волнами и на большом расстоянии. И вот Баль потому и задержался, что своим товарищам передавал все устройство рубки управления нашего корабля и свои по этому поводу соображения. Он даже побывал у самой Машины. Он знал, что, наверно, погибнет — он должен был успеть все передать. И Машина убила его. А может, и не убивала — она ведь только машина, но так и получилось. Каково, думала я, было моим прадедам — они ведь крепостные, совершенно необразованные. Они считали, что Земля — центр всего мира. Они не знали ничего о Джордано Бруно или Копернике. Вот бы их сюда. А в чем разница между мной и дедом? Я ведь хоть и читала в газетах о бесконечности мира, на моей жизни это не отражалось. Все равно я жила в центре

мира. И этот центр был в городе Калязине, в моем доме на Циммермановой улице. А оказалось, моя Земля — глухая окраина...»

Даг что-то говорил Павлышу, но тот не слышал. Хотя отвечал невразумительно, как спящий тому, кто будит его до времени.

«Первый раз за все годы проснулась от холода. Мне показалось, что трудно дышать. Потом обошлось. Согрелась. Но трепанги, когда я к ним пришла, сказали, что с кораблем что-то неладно. Я спросила, не Баль ли виноват. Они ответили — нет. Но сказали, что надо спешить. А я-то думала, что корабль вечный. Как Солнце. Дола сказал, что они теперь много знают об устройстве корабля. И о том, как работает Машина. Сказали, что у них дома есть машины посложнее этой. Но им нелегко бороться с Машиной, потому что глупышки захватили их, как и меня, врасплох. И без меня им не справиться. Готова ли я и дальше им помогать? «Конечно, готова», — ответила я. Но ведь я очень рискую, объяснил мне тогда Дола. Если им удастся повернуть корабль или найти еще какой-нибудь способ вырваться отсюда, они смогут добраться до своего дома. А вот мне они помочь не смогут. «А разве нет на корабле каких-нибудь записей маршрута к Земле?» — спросила я. Но они сказали, что не знают, где их искать, и вернее всего они спрятаны в памяти Машины. И тогда я им объяснила мою философию. Если они возьмут меня с собой, я согласна куда угодно, только бы отсюда вырваться. Уж лучше буду жить и умру у трепангов, чем в тюрьме. А если мне и не удастся отсюда уйти, хоть спокойна буду, что кому-то помогла. Тогда и умирать легче. И трепанги со мной согласились.

На корабле стало еще холодней. Я потрогала трубы в малом зале. Трубы чуть теплые. Два глупышки возмущались у них, что-то чинили. С трепангами я догово-

риться смогла, а вот глупышки за все годы ничего мне не сказали. Да и что им сказать? Но мне надо идти, и я совсем не знаю, вернусь ли к моим запискам. Я еще хочу написать — даже не для того, кто будет читать эти строчки, а для себя самой. Если бы мне сказали, что кого-нибудь можно посадить на несколько лет в тюрьму, где он не увидит ни одного человека, даже тюремщика не увидит, я бы сказала, что это наверняка смерть. Или человек озверееет и сойдет с ума. А вот, оказывается, я не сошла. Износилась, постарела, измучилась, но живу. Я сейчас оборачиваюсь на прошлое и думаю — а я ведь всегда, почти всегда была занята. Как и в моей настоящей жизни на Земле. Наверно, моя живучесть и держится на том, что умеешь найти себе дело, найти что-то или кого-то, ради чего стоило бы жить. А у меня сначала была надежда вернуться к Оленьке, на Землю. А потом, когда эта надежда почти угасла, оказалось, что даже и здесь я могу пригодиться».

И последний листок. Он обнаружился в пачке неисписанных листков, тех, что Надежда заготовила, обрезаала, но не успела ничего на них написать.

«Уважаемый Тимофей Федорович!

Примите мой низкий поклон и благодарность за все, что вы сделали для меня и моей дочери Ольги. Как вы там живете, не скучаете ли, вспоминаете ли меня иногда? Как ваше здоровье? Мне без вас порой бывает очень тоскливо, и не думайте, пожалуйста, что меня останавливало то, что вы инвалид...»

Дальше было две строчки, густо зачеркнутых. И нарисована сосна. Или ель. Плохо нарисована, неумело.

5

Потом прошло несколько дней. Павлыш спал и ел под своим тентом и уходил в длинные коридоры кораб-

ля, как на работу. На связь он выходил редко и отмалчивался, когда Даг начинал ворчать, потому что его товарищи воспринимали Надежду как сенсацию, удивительный парадокс — для них она оставалась казусом, открытием, явлением (тут можно придумать много слов, которые лишь приблизительно раскроют всю сложность их переживаний, в которых не было одного — отождествления).

Павлыш оставался все время рядом с Надеждой, ходил по ее следам, видел этот корабль — его коридоры, склады, закоулки — именно так, как видела их Надежда, он проникся полностью атмосферой трагической тюрьмы, которая, вернее всего, и не предназначалась для такой роли, которая внесла в жизнь медсестры из калязинской больницы страшную неизбежность, которую та осознала, но с которой в глубине души все-таки не примирилась.

Теперь, зная каждое слово в записках Надежды и расшифровав последовательность передвижений женщины по кораблю, уяснив значение ее маршрутов и дел, побывав и в тех местах, куда Надежда попасть не могла, о существовании которых даже не подозревала, Павлыш уже мог знать, что произошло потом, причем именно то, а не догадываться.

Обрывки проводов, перевернутый робот-глупышка, темное пятно на белесой стене, странный разгром в рубке управления, следы в отделении корабельного мозга — все это укладывалось в картину последних событий, участником которых была Надежда. И Павлыш даже не искал следы, а знал, что там и там они могут оказаться. А если их не оказывалось, он шел дальше до тех пор, пока уверенность его не подкреплялась новыми доказательствами.

...Надежда спешила дописать последний листок. Она очень жалела теперь, что так мало писала в последние

недели. Она всегда не любила писать. Даже сестры корили ее за то, что совсем не пишет писем. И только сейчас она вдруг представила, что, если улетит с трепангами, может так случиться, что корабль попадет в руки к разумным существам, и даже к таким, которые передадут ее записки на Землю. И вот они будут клясть ее последними словами за то, что не описала свою жизнь подробно, день за днем, не описала ни трепангов, хоть знает их теперь как своих родственников, ни других, с которыми ей пришлось иметь дело на корабле, — одни давно уже погибли, другие попали в музей, третьим, видно, суждено будет погибнуть, потому что трепанги смогли узнать — уж они куда больше Надежды разбираются во всякой технике, — что корабль так долго не возвращался к себе домой из-за того, что в системах его произошли неполадки. Если так дело пойдет дальше, он будет до скончания века носиться по вселенной, понемногу ломаясь, умирая, как человек.

Все последние дни для Надежды проходили в спешке. Ей приходилось делать множество дел, значения которых она не всегда понимала, но знала, что они важны и нужны для цели, ясной трепангам. Она понимала, что расспрашивать их об этом бессмысленно. Они и не могли ей объяснить, даже если бы хотели. За эти годы Надежда научилась тому, что она не может понять даже самых неразумных обитателей корабля, не говоря уже о трепангах. Ведь сколько они прожили рядом с драконихой, сколько часов Надежда провела рядом с ней, а ведь так ничего она не узнала. Или шарики, жившие в стеклянном кубе. Шариков было много, десятка два. При виде Надежды они часто начинали менять цвет и раскатываться крупными бусинами по дну куба, складываясь в фигуры и круги, словно давали ей знаки, которых она понять не могла. Надежда говорила о шариках трепангам, но они или забывали сразу, или не удосужи-

вались поглядеть на них. Надежда, когда стало ясно, что путешествие подходит к концу, связала из проводов мешок, чтобы захватить шарики с собой. Знала даже, что шарикам нужна вода — больше ничего им не нужно.

Вот и сейчас, как допишет, сложит свое добро, надо бежать открывать три двери, которые нарисовали ей трепанги на плане. Эти двери трепангам не открыть, потому что квадратики слишком высоки для них.

Надежда поняла, что они возьмут с собой ту лодку, которая когда-то захватила ее в плен. На ней и полетят. Но для того чтобы сделать это, надо обязательно вывести из строя главную машину. А то к лодке не пройти и Машина просто не выпустит их с корабля. Для этого Надежда тоже была нужна.

Надежда не спала уже вторую ночь. И не только потому, что была охвачена возбуждением, но и потому, что трепанги не спали вообще и не понимали, почему ей надо обязательно отключаться и ложиться. И стоило ей улечься, как сразу в мозгу она ощущала толчок — трепанги звали ее.

Складывая листки, Надежда вдруг засомневалась, оставлять ли их здесь. А может, взять с собой на лодку? Может, им лучше будет с ней? Мало ли что случится в пути? Нет, рассудила, сама-то она всегда может рассказать. А на корабле ничего не останется.

Толчок в голове. Надо бежать. Надежде вдруг показалось, что она уже не вернется сюда. Жизнь, тянувшаяся так медленно и монотонно, вдруг набрала страшную скорость и помчалась вперед. И именно сейчас она может оборваться...

— Мы постараемся повернуть сам корабль к нашей планете, — сказали ей трепанги. — Но это очень рискованно. Ведь для этого мы должны заставить мозг корабля подчиниться нам. Если нам это не удастся, то мы

постараемся вывести его из строя. Так, чтобы воспользоваться спасательной лодкой. Но прилетит ли она куда надо, сможем ли мы ею управлять — мы тоже не уверены. Поэтому возможно, что нам грозит смерть. И мы должны сказать тебе об этом.

— Знаю, — сказала Надежда, — Я была на войне.

Но это ничего не говорило трепангам, у которых давнo не было войн.

Трепанги тоже не теряли времени даром. Они сделали такие палки, которыми, надо дотронуться до глупышки и он выключается. Палку дали Надежде. Она должна была идти впереди и открывать двери.

Два трепанга пошли за ней следом. Два других поспешили, поползли, подпрыгивая, наверх, где тоже было отделение с какими-то машинами, как капитанский мостик на пароходе, только без окон.

— Три двери, — повторял трепанг. — Но за последней дверью, возможно, не будет воздуха. Или будет не такой, как в нашем отделении. Сразу не входи. Подождем, пока наполнится. Ясно?

Трепанги всегда говорили ясно, они очень старались, чтобы Надежда понимала их приказы и просьбы. За первой дверью Надежда как-то была. Помнила, что там широкий проход и по стенам стоят запасные глупышки. Как мертвые. Трепанги сказали ей, что там глупышки подзаряжаются, отдыхают. Почему она туда попала и когда это было — Надежда не помнила. Но коридор с мертвыми глупышками в нишах запомнился отчетливо.

— Они тебя не тронут, — сказал Дола.

— Не успокаивай, — сказала Надежда.

— Только не рискуй. Без тебя нам не выбраться. Помни это.

— Отлично помню. Не волнуйся.

Надежда провела ладонью по квадрату в стене, и

дверь отошла в сторону. В том коридоре был странный запах, сладкий и в то же время горелый. Все ниши были заняты.

— Им приходится теперь дольше подзаряжаться, — сказал Дола, ползший сзади. — Ты видела, что их меньше стало в наших отсеках.

— Да, заметила, — сказала Надежда. — Не забыть бы взять шарики.

— Шарики?

— Я о них говорила.

— Осторожнее!

Один из глупышек вдруг резво выскочил из ниши и поехал к ним, собираясь загородить дорогу и, может, отогнать их обратно. Глупышка спешил устранить непорядок.

— Быстрее, — сказал Дола. — Быстрее.

Надежда побежала вперед и постаралась перепрыгнуть через глупышку, бросившегося к ней под ноги.

Но глупышка — как это она забыла? — тоже подпрыгнул и ударил ее током. К счастью, несильно. Наверно, сам не успел подзарядиться. Надежда упала на колени и выронила палку. Ушиблась больно и даже охнула. Ноги у нее были уже не те, что несколько лет назад. Она ведь в техникуме играла в волейбол. За «Медик». Второе место в Ярославле. Только это было очень давно.

Глупышку остановил Дола, который тоже имел такую же палку, как у Надежды, только покороче.

— Что с тобой? — спросил он. Голос у трепанга шипящий, без всякого выражения, но по ощущению в голове Надежда поняла, как он волнуется.

— Ничего, — сказала Надежда, поднимаясь и заставляя себя забыть о боли. — Пошли дальше.

До следующей двери было шагов двадцать. Ещё один

глупышка стал вылезать из ниши, но делал он это медленно.

— Машина уже получила сигнал, — сказал Дола. — Они с ней связаны.

Надежда добежала, ковыляя, до двери, но квадрата на нужном месте не оказалось.

— Я не знаю, как открыть, — сказала она.

Сзади было тихо.

Она оглянулась. Дола стоял неподвижно. Второй трепанг отбивался палочкой от трех глупышек сразу.

— Скорее, — сказал наконец Дола.

— Может, есть другой путь? — спросила Надежда, чувствуя, как у нее холодеют руки. — Эту дверь нам не открыть.

— Другого пути нет, — сказал Дола, и голос его шептал, шелестел откуда-то снизу, издалека. Дверь была заперта надежно.

Еще глупышки, другие, вялые, медленные, выползли из ниш, и казалось, что на трепанга надвигается стадо слишком больших божьих коровок.

И в этот момент дверь открылась сама. Распахнулась резко, так что Надежда еле успела отпрыгнуть в сторону, потому что почувствовала, что дверь открывается неспроста. Так вбегает домой хозяин, подозревающий, что к нему забрались вору.

Дола тоже успел отпрыгнуть в сторону. Трепанги умеют иногда прыгать довольно резво.

Из двери выскочил глупышка, которого Надежда никогда раньше не видела. Он был чуть ли не с нее ростом и скорее был похож на шар, а не на черепашку, как прочие. У него было три членистые руки, и он громко, угрожающе жужжал, словно хотел распугать тех, кто осмелился зайти в неположенное место.

Откуда-то вырвалось пламя и пролетело, заполняя коридор, совсем рядом с Надеждой, и она ощутила его

обжигающую близость. Она зажмурилась и не увидела, как Дола успел, подобрав палку, остановить глупышку, заставить его замереть. Хоть и было поздно.

Черепашки, толпившиеся в дальнем конце коридора, уже потемнели, словно обуглились, а второй трепанг, который сдерживал их и не успел отскочить, когда открылась дверь, превратился в кучку пепла на полу.

Все это Надежда видела как во сне, словно ее не касались ни опасность, ни смерть. Она понимала, что ее дело — пройти за вторую дверь, потому что дверь может закрыться, и тогда все, ради чего погибли Баль и этот трепанг, окажется бессмысленным и ненужным.

За второй дверью оказался круглый зал, словно верхняя половина шара. Они успели вовремя. К двери уже катился второй большой глупышка. Дола успел броситься к нему и обезвредить раньше, чем тот начал действовать.

Перед Надеждой было несколько дверей, совершенно одинаковых, и она обернулась к Доле, чтобы он сказал, куда идти дальше.

Тот уже спешил вперед и быстро, изгибаясь, как испуганная гусеница, высоко поднимая спину, пополз мимо дверей, на какую-то долю секунды останавливаясь перед каждой и словно вынюхивая, что за ней находится.

— Здесь, — сказал он. — Ищи, как войти.

Надежда уже стояла рядом. Эта дверь также была без запора. И какое-то тупое отчаяние овладело Надеждой. Она тогда просто толкнула дверь рукой, и та, словно ждала этого, провалилась вниз.

Они были перед Машиной. Перед хозяином корабля, перед тем, кто отдавал приказы спускаться на чужие планеты и забирать все, что попадется, перед тем, кто поддерживал на корабле порядок, кормил, наказывал и хранил его пленников и добычу.

Машина оказалась просто стеной с множеством око-

шек и разноцветных лампочек, серых и голубых плиток и рукоятей. Это была Машина, и ничего более. Она удивила Надежду. Нет, не разочаровала, а удивила, потому что за годы, проведенные здесь, Надежда много раз пыталась представить себе хозяина корабля и наделяла его множеством страшных черт. Но именно безликость Машины ей никогда не приходила в голову.

Маленький глупышка, который сидел где-то высоко на машине, соскользнул вниз и покатился к ним. Надежда хотела ткнуть его палкой, но палка была у Долы, и тот пополз навстречу глупышке и остановил его.

— Что дальше? — спросила Надежда, переводя дух. Ее юбка, сшитая из найденной на корабле материи, похожей на клеенку, распоролась на коленях и замаралась кровью — оказывается, она сильно расширилась, когда прыгала через глупышку.

Дола не ответил. Он уже стоял перед Машиной и крутил своей червяковой головкой, разглядывая ее.

Что-то щелкнуло, словно от взгляда Долы, и зал наполнился громким прерывистым шипением. Надежда отпрянула, но тут же догадалась, что это голос другого трепанга.

— Все в порядке, — сказал тогда Дола. — Посади меня вот сюда. Я поверну эту ручку.

Надежда посадила его повыше, и он сделал что-то в Машине.

— Наши, — сказал Дола, уже опустившись снова на пол и ползя вдоль Машины, — на центральном пульте. Если все будет в порядке, мы сможем управлять кораблем.

Дола прислушивался к шипению, которое исходило из черного круга — видно, какого-то переговорного устройства, и говорил Надежде, что надо сделать, если сам не мог дотянуться до того или иного рычага или кнопки. И Надежда вдруг поняла, что они находятся

в машинном отделении парохода и капитан со своего мостика отдает им приказания: «Тихий ход, полный ход». И скоро они поедут дальше, домой.

И ее охватила странная, сладкая усталость. Ноги отказались ее держать. Она села на пол и сказала Доле:

— Я отдохну немножко.

— Хорошо, — сказал Дола, прислушиваясь к словам своих товарищей с капитанского мостика.

— Я отдохну, а потом буду тебе помогать.

— Они пытаются перевести корабль на ручное управление, — сказал ей Дола через некоторое время, и голос его донесся издали-издали.

И тут же Дола вскрикнул. Она никогда не слышала, чтобы трепанги кричали. Что-то случилось такое, что заставило его сильно испугаться.

Огоньки на лице Машины гасли один за другим, перемигиваясь все слабее, будто прощались друг с дружкой.

Шипение из репродуктора превратилось в слабый визг, и Дола выкрикивал какие-то отдельные звуки, которые не могли иметь смысла, но все же имели.

— Быстро, — сказал Дола. — К катеру.

Чего-то они не учли. В Машине, на вид покорившейся восставшим пленникам, сохранились клеточки, которые приказали ей остановиться, умереть, лишь бы не служить другим, чужим.

Надежда поднялась на ноги, чувствуя, как Дола толкает ее, торопит, но никак не могла должным образом испугаться — все ее тело продолжало цепляться за спасительную мысль: «Все кончилось, все хорошо, теперь мы поедem домой».

И даже когда она бежала за Долой по коридору, мимо обожженных глупышек, даже когда они высочили

наружу и Дола велел ей скорее сносить к катеру еду и какие-то круглые, тяжелые предметы, вроде морских мин, помогая ей при этом, она продолжала убаюкивать себя мыслью, что все будет в порядке. Ведь они одолели машину.

У люка, который вел к катеру, Надежда сваливала продукты и бежала снова, потому что надо было захватить и воду, и еще этих шаров, в которых, оказывается, был воздух. И Дола все старался объяснить ей, но забывал слова и путался, что теперь Машина перестала вырабатывать воздух и тепло, и скоро корабль умрет, и, если они не успеют погрузить и подготовить к отлету катер, их уже ничто не спасет.

Два других трепанга прибежали с капитанского мостика, притащив какие-то приборы, и стали возиться в катере. Они даже не замечали Надежду — движения их были суматошны, но быстры, словно каждая из их рук — а их у трепангов по два десятка — занималась своим делом.

Сколько продолжалась эта беготня и суматоха, Надежда не могла сказать, но где-то на десятом или двадцатом походе в оранжерею она вдруг поняла, что в корабле стало заметно холодней и труднее дышать. Ее даже удивило, что предсказания Дола сбываются так быстро. Ведь корабль же закрытый. Она не знала, что устройства, поглощавшие воздух, чтобы очистить и согреть его, еще продолжали работать, а те, что должны были этот воздух возвращать на корабль, уже отключились. Корабль погибал медленно, и некоторые его системы, о чем тоже Надежда знать не могла, будут работать еще долго: месяцы, годы.

Надежда хотела было забежать к себе в каюту и забрать вещи, но Дола сказал ей, что придется отбывать через несколько минут, и тогда она решила вместо этого притащить еще один шар с воздухом, потому что он

нужен был всем, а без юбки или косынки, без чашек она обойдется.

Когда она тащила шар к катеру, то увидела на полу мешок, сплетенный из цветных проводов. «Господи, — подумала она, — я же совсем забыла». Она добежала до катера, опустила шар у люка.

— Скорее заходи, — сказал Дола изнутри, вкатывая тяжелый шар.

— Сейчас, — сказала Надежда, — одну минутку.

— Ни в коем случае! — крикнул Дола.

Но Надежда уже бежала по коридору к мешку и с ним к стеклянному кубу, где ждали ее шарики. А может, и не ждали. Может, она все придумала.

Шарики при виде Надежды рассыпались лучами из центра, словно изображали ромашку.

— Скорее, — сказала им Надежда. — А то мы останемся. Поезд уйдет.

Она сунула мешок внутрь, и, к ее удивлению, шарики послушно покатались внутрь. Она была даже благодарна им, что они так быстро управились.

Мешок оказался тяжелым, тяжелее, чем шары с воздухом. Надежда тащила его по коридору, и, несмотря на стужу в корабле, ей было жарко. И она задыхалась.

И если бы она не была так занята мыслью о том, как добраться до катера, она бы заметила еще одного большого глупышку, который, видно, охранял какое-то другое место на корабле, но, почуяв неладное, когда умерла Машина, покатылся по коридорам отыскивать причину беды.

Надежда уже подбегала к катеру, ей оставалось пройти несколько шагов, как глупышка, который тоже увидел катер и направил свой огненный луч прямо в люк, чтобы сжечь все, что было внутри, увидел ее. Неизвестно, что подумал он и думал ли он вообще, но

он повернул луч, и Надежда успела лишь отбросить мешок с шариками.

Но этой секунды было Доле достаточно, чтобы захлопнуть люк. И следующий выстрел глупышки лишь заставил почернеть бок катера. Исчерпав свои заряды, глупышка застыл над кучкой пепла. Отключился. Шарик высыпался из мешка и раскатился по полу.

Дола открыл люк и сразу все понял. Но он не мог задерживаться. Может быть, если бы он был человеком, то собрал бы пепел, оставшийся от Надежды, и похоронил его у себя дома. Но трепанги таких обычаев не знают.

Дола завинтил крышку люка, и катер оторвался от умирающего корабля и понесся к звездам, среди которых была одна, нужная трепангам. Они еще не знали, удастся ли им до нее добраться...

Павлыш поднял с пола обгоревший клочок материи — все, что осталось от Надежды. Потом собрал в кучку шарики. История кончилась печально. Хотя оставалась маленькая надежда на то, что ошибся, что Надежда успела все-таки улететь на катере.

Павлыш поднялся и подошел к холодному, пустому, сделавшему все, что от него требовалось, роботу, который так и простоял все эти годы, целясь в пустоту. Робот выполнял свой долг — охранял корабль от возможных неприятностей.

— Ты уже часа два молчишь, — сказал Даг. — Ничего не случилось?

— Потом расскажу, — сказал Павлыш. — Потом.

6

Они сидели с Софьей Петровной у самого окна. Она пила лимонад, Павлыш — пиво. Пиво было хорошее, темное, и сознание того, что его можно пить, что ты на-

ходишься в простое и до ближайшей медкомиссии месяца три, не меньше, обостряло сладкое ощущение небольшого, простительного проступка.

— А разве вам можно пить пиво? — спросила Софья Петровна.

— Можно, — сказал коротко Павлыш.

Софья Петровна недоверчиво покачала головой. Она была убеждена, что космонавты не пьют пива. И была права.

Она отвернулась от Павлыша и смотрела на бесконечное поле, на причудливые на фоне оранжевого заката силуэты планетарных машин.

— Долго что-то, — сказала она.

Софья Петровна казалась Павлышу скучным и правильным человеком. Она, наверно, отлично знает свое дело, учит детей русскому языку, но вряд ли дети ее любят, думал Павлыш, разглядывая ее острый, завершенный профиль, гладко причесанные и собранные сзади седые волосы.

— Почему вы меня разглядываете? — спросила Софья Петровна, не оборачиваясь.

— Профессиональная привычка? — ответил вопросом Павлыш.

— Не поняла вас.

— Учитель должен видеть все, что происходит в классе, даже если это происходит у него за спиной.

Софья Петровна улыбнулась одними губами.

— А я решила, что вы ищете сходства.

Павлыш не ответил. Он искал сходства, но не хотел в этом признаваться. Шумная компания курсантов в синих комбинезонах заняла соседний стол. Комбинезоны можно было снять еще в ангаре, но курсантам нравилось в них ходить. Они еще не успели привыкнуть ни к комбинезонам, ни к пилоткам с золотым гербом планетарной службы.

— Что-то они запаздывают, — повторила Софья Петровна.

— Нет, — Павлыш взглянул на часы. — Я же советовал вам подождать дома.

— Дома было не по себе. Создавалось впечатление, что кто-то сейчас войдет и спросит: «А почему вы не едете?»

Софья Петровна говорила правильно и чуть книжно, словно все время мысленно писала фразы и проверяла их с красным карандашом.

— Все эти годы, — продолжала она, приподняв бокал с лимонадом и разглядывая пузырьки на его стенках, — я жила ожиданием этого дня. Это может показаться странным, так как внешне я старалась ничем не проявлять постоянного нетерпения, владевшего мною. Я ждала, пока расшифруют содержание блоков памяти того корабля. Я ожидала того дня, когда будет отправлена экспедиция к планете существ, которых моя бабушка называла трепангами. Я ждала ее возвращения. И вот дождалась.

— Странно, — сказал Павлыш.

— Я знаю, насколько вы были разочарованы при нашей первой встрече, когда я не проявила ожидавшихся от меня эмоций. Но что я должна была делать? Я же представляла себе бабушку лишь по нескольким любительским фотографиям, по рассказам мамы и по четырем медалям, принадлежавшим бабушке с тех лет, когда она была медицинской сестрой на фронте. Бабушка была для меня абстракцией. Моя мать уже умерла. А ведь она была последним человеком, для которого сочетание слов «Надежда Сидорова» означало не только любительскую фотографию, но и воспоминание о руках, глазах, словах бабушки. Со дня исчезновения бабушки уже прошло почти сто лет... Я ощутила связь с ней лишь потом, когда вы уехали. Нет, виноваты в том не газеты и жур-

налы со статьями о первом человеке, встретившем космос. Причина в дневнике бабушки. Я стала мерить собственные поступки ее терпением, ее одиночеством.

Павлыш наклонил голову, соглашаясь.

— И я не такой сухарь, как вы полагаете, молодой человек, — сказала вдруг Софья Петровна совсем другим голосом. — Я основная исполнительница ролей злых старух в нашем театре. И меня любят ученики.

— Я и не думал иначе, — соврал Павлыш.

И, подняв глаза, встретился с улыбкой Софьи Петровны. Ее втянутые щеки порозовели. Она сказала, поднимая бокал с лимонадом:

— Выпьем за хорошие вести.

Даг быстро шел между столиков, издали заметив Павлыша и Софью Петровну.

— Летят, — сказал он. — Диспетчерская получила подтверждение.

Они стояли у окна и смотрели, как на горизонте опустился планетарный катер, как к нему понеслись разноцветные под закатом капли флаеров. Они спустились вниз, потому что Даг отлично знаком с начальником экспедиции Клапачом и надеялся, что сможет поговорить с ним раньше журналистов.

Клапач вылез из флаера первым. Остановился, оглядывая встречающих. Курносая девочка с очень белыми, как у Клапача, волосами подбежала к нему, и он поднял ее на руки. Но глаза его не переставали искать кого-то в толпе. И когда он подходил к двери, то увидел Дага, Павлыша и Софью Петровну. Он опустил дочку на землю.

— Здравствуйте, — сказал он Софье Петровне. — Я уж боялся, что вы не придете.

Софья Петровна нахмурилась. Ей было не по себе

от ощущения, что на нее смотрят телевизионные камеры и фотоаппараты.

Перед лицом Клапача покачивался похожий на шмеля микрофон, и Клапач отмахнулся от него.

— Она долетела? — спросила Софья Петровна.

— Нет, — сказал Клапач. — Она погибла, Павлыш был прав.

— И ничего?..

— Нам не пришлось долго расспрашивать о ней. Посмотрите.

Клапач расстегнул карман парадного мундира. Летный состав всегда переодевается в парадные мундиры на внешних базах. Остальные члены экипажа стояли за спиной Клапача. На площадке перед космопортом было тихо.

Клапач достал фотографию. Объектив телекамеры спустился к его рукам, и фотография заняла экраны телевизоров.

На фотографии был город. Приземистые купола и длинные строения, схожие с валиками и цепочками шаров. На переднем плане статуя на невысоком круглом постаменте. Худая, гладко причесанная женщина в мешковатой одежде, очень похожая на Софью Петровну, сидит, держа на коленях странное существо, похожее на большого трепанга.

— Пап, — сказала курносая девочка, которой надоело ждать. — Покажи мне картину.

— Возьми, — Клапач отдал ей фотографию.

— Червяк, — сказала девочка разочарованно.

Софья Петровна опустила голову и короткими, четкими шагами пошла к зданию космопорта. Ее никто не останавливал, не окликал. Лишь один из журналистов хотел было кинуться вслед, но Павлыш поймал его за рукав.

Фотографию у девочки взял Даг.

Он смотрел на нее и видел мертвый корабль, проваливающийся в бесконечность космоса.

Через минуту площадь перед космопортом уже гудела от голосов, смеха и той обычной радостной суматохи, которая сопровождает приход в порт корабля или возвращение на Землю космонавтов.



В сумерках Лунин пристал к берегу, чтобы переночевать. Место было удачное — высокий берег, поросший поверху старыми деревьями. Под обрывом тянулась широкая полоса песка, утрамбованного у воды и мягкого, рассыпчатого, прогретого солнцем ближе к обрыву. Кое-где на песке лежали стволы свалившихся сверху деревьев — река постепенно размывала высокий берег.

Лунин привязал катер к черному, корявому, ушедшему корнями в воду пню. Катер легонько мотало на мелкой волне. Палатку он решил разбить наверху. Там не будут досаждать москиты — снизу было видно, как гнутся от ветра вершины деревьев.

Лунин приторочил палатку на спину и начал подъем. Обрыв был сложен из рыхлого песчаника и слежавшегося, но предательски непрочного кварцевого песка. Лунин цеплялся за корни и колючие кусты, которые подавались с неожиданной легкостью, и приходилось прижиматься всем телом к обрыву, чтобы не сползти обратно.

Никто не мешал Лунину остаться внизу и переночевать в катере, но Лунин предвкушал час отдыха, беспешных размышлений и воображаемой разборки сегодняшних трофеев. Трофеи остались на катере, но Лунин знал их наизусть. Да и не находки были важны сейчас, а связанная с ними возможность подтверждения идей, которые еще не успели отстояться и стать теорией.

Наверху дул свежий, набравший силу над зеркалом реки ветер. Дальний берег уже утонул во мгле. Ветер разгонял москитов. Поставив палатку и перекусив, Лунин уселся спиной к корявому стволу, свесил ноги с обрыва.

Где-то неподалеку перекликались птицы. Треснул сук. Лунин слышал голоса леса, но они не мешали ему. Он знал, что в случае опасности успеет одним прыжком достигнуть палатки и включить силовое поле. Лунин нагнулся и поглядел на катер. Тот тоже в безопасности. Катер казался сверху маленьким, словно жучок, прибитый к берегу волной. Лунин почувствовал приближение приступа одиночества, преследовавшего, как болезнь. Здесь не было своих. Только чужие. Лунин был чужим. И геологи, которые тоже где-то в тысяче километров отсюда разбили сейчас палатки и сидят около них, при-

слушиваясь к звукам леса или степи. И ботаник тоже ночует где-то. Один.

Лунин поглядел вверх. Словно знал, что именно сейчас Станция пролетает над ним. Станция была яркой звездочкой. Но не более как звездочкой. Можно заглянуть в палатку и вызвать Станцию. И спросить, например, какая здесь завтра будет погода. Ответят, пожелают спокойной ночи. Диспетчеру скучно. Он ждет не дождется, когда наступит его очередь спуститься вниз. Он геолог. Или геофизик. Ему кажется — планета так интересна и богата, что ему некогда будет почувствовать свое одиночество. Может, он прав. Наверно, Лунин исключение.

Эта планета могла быть другой. Совсем другой. Может быть, из-за сознания того, что Лунин нечаянно овладел ее невеселым секретом, он и мучился одиночеством.

На станции он единственный палеонтолог. Сначала он работал вместе с партией геологов. Потом оставил их. Все равно он мог лишь угадывать, чего ждать, вести самую предварительную разведку. Не более. Искать планомерно, делать открытия, подготовленные временем, предстояло другим. На долю Лунина оставались случайности и догадки. Одна из случайностей произошла вчера. Вторая сегодня утром.

Утром он нашел вторую стоянку. Она оказалась не старше, чем вчерашняя...

— Ух, — послышалось в кустах. Такое «ух» могло значить лишь одно — сигнал к нападению. Лунин метнулся к палатке, успев подумать, что плуги, к счастью, никогда не нападают молча. Всегда оставляют тебе секунду на размышление. Правда, не более секунды.

Он не успел спрятаться в палатке. Плуги бросились к нему из-за стволов и сверху, с вершин деревьев. Падая под тяжестью горячей шерсти, Лунин дотянулся до кнопки силовой защиты, и поле придавило к земле ноги

чуть ниже колен. Он рванул ноги, стараясь поджать их, но это оказалось трудно сделать — не столько из-за поля, сколько потому, что один из плугов успел вцепиться лапой в башмак и тянул к себе. Остальные — трое или четверо — бились о невидимую стенку, отделявшую их от Лунина.

В полумраке было видно, как светятся красным их слишком большие по земным меркам глаза. Оттого выражение яростных морд казалось двусмысленным — глаза никак не вязались с оскалом клыков и морщинами, топорщившими редкую шерсть на низком покатом лбу. В глазах виделись удивление, растерянность и даже жалоба. Но плуги лишены жалости и милосердия. Они непобедимые и мрачные хищники, господа ночи. Величина и форма глаз — необходимость. Они видят почти в полной темноте.

Башмак остался в лапе плуга, и тот сразу вгрызся в него, но насладиться добычей не успел. Другой плуг, покрупнее, преисполнился зависти. И плуги забыли о Луние. Он знал, что забыли ненадолго — вернутся. Но пока они рвали башмак.

Лунин устроился у входа в палатку и нашарил сзади себя кинокамеру. Луч света, вышедший из нее, обозначил лишь черный громадный ком, шевелящийся, словно рой пчел, — плуги дрались. И тогда из-за дерева вышел крупный матерый самец. Он шел на задних лапах и ставил их уверенно и прочно. Он не смотрел на пустую драку: его интересовала добыча покрупнее — палатка и человек в ней.

Плуг не обращал внимания на свет — лишь зрачки сузились до ниточек, и Лунин, глядя на него сквозь видоискатель камеры и поджимая разутую ногу, невольно улыбнулся. (Когда первые фотографии этих гигантских обезьян прибыли на Станцию, доктор Павлыш с «Космоса» сказал совершенно серьезно: «Там побывал Густав

Плуг». Густава Плуга знали многие. Он был главным врачом на «Земле-14» и отличался ангельским характером, умением отыскивать болезни у самых на вид здоровых космонавтов и устрашающей внешностью. Он был похож на черную гориллу. Только в очках. Тогда-то Павлыш и нарисовал на фотографии очки, и питеков назвали плугами.)

— Здравствуйте, доктор Плуг, — сказал Лунин медленно подходившему зверю. — Я кажусь легкой добычей? Со мной можно поступать по законам джунглей? Ну так постарайтесь вообразить, что и я могу вас съесть...

На мгновение Лунину показалось, что силовое поле может отказать. Он даже вытащил из-под себя босую ногу и ткнул ею вперед. Нога уперлась в преграду. Тут же Лунин подумал, что завтра придется слетать на Станцию. Босиком здесь долго не проходишь.

Вожак распластал лапы по невидимой стенке и прижал к ней морду. Он исходил злобой. Лунин внушал ему воспоминания. И именно поэтому Лунин сегодня относился к плугам без того интереса, с каким привыкший жить в поле исследователь относится к неразумной жизни вокруг. Сегодня Лунин испытывал некоторые весьма обоснованные подозрения. Подозрения внушили стоянки.

Всего их было пока две. Вчерашняя, в распадке, на склоне, где несколько неглубоких пещер смотрели на травянистую лужайку. В одной из пещерок Лунин вчера обнаружил следы копоти, а на полу, под пометом летучих мышей, кухонные отбросы — разбитые кости, золу и осколки кремня. Часа через полтора, опомнившись и отдышавшись от возни с камерами и фиксаторами, Лунин вызвал Станцию и сообщил дежурному о находке. Говорил Лунин спокойно, буднично, и поэтому сначала дежурный не осознал значения его слов.

— Записываю координаты, — отвечал дежурный равнодушно, как по несколько раз за день отвечал различным группам, каждая из которых была уверена, что ее сегодняшнее открытие войдет в историю. — Палеолитическая стоянка... Предварительный анализ кухонных отбросов... восемьсот-девятьсот лет плюс-минус пять... Поймай, — сказал тут дежурный. — Какие кухонные отбросы?

— Кости, — сказал Лунин. — Зола.

— Ты что хочешь сказать?..

— Сообщение принято? Продолжаю работу, — сказал Лунин и отключился, представляя себе, как сума-тоха, вызванная его сообщением, прокатывается волной по Станции, отрывает от срочной и недавно еще Самой Важной Работы физиков, астрономов, зоологов, перекидывается на планету и становится достоянием работающих внизу групп. «Послушай, ты знаешь, что Лунин на-шел?»

Минут пять прошло спокойно. Лунин не заблуждался относительно этого спокойствия. Он сидел на валуне и ждал событий.

— Лунин, — сказал голос в рации. — Ты слышишь меня?

Говорил Вологдин, шеф экспедиции.

— Слышу, — сказал Лунин, покусывая тонкую травинку.

— Ты не ошибся?

Лунии игнорировал такое предположение.

— Лунин, ты чего молчишь?

— Я уже послал сообщение.

— Но ты уверен?

— Да.

— Мы вышлем тебе группу?

— Пока не надо. Ничего особенного не произошло.

— Вот это да.

Лунин представил, как вся Станция стоит за спиной у шефа и слушает разговор.

— Послушай, Вологдин, — сказал Лунин. — Да, я нашел палеолитическую стоянку. Но не знаю, кто ее бывший хозяин. Стоянка по нашим масштабам свежая. Значит, если даже на планете есть разумные существа, они не вышли из положения троглодитов. В ином случае мы отыскали бы их уже давно.

— Но почему раньше никто не видел даже следов?

— А что мы знаем о планете? Работаем здесь всего третий месяц. И нас горстка.

— И все-таки планета уже вся заснята, и любое свидетельство...

— Они, наверно, живут в лесу.

— Может, это плуги?

— Не надейся. О плугах тебе расскажет Ли. Он за их стаей следил две недели. Жуткие звери, чуть поорганизованней горилл, зато вдесятеро злее и сильнее. Отлично обходятся без огня.

— Так ты справишься?

— Да. Можешь прислать капсулу. Я заложу в нее пленки. Сами посмотрите, своими глазами. Но ничего сенсационного не обещаю.

— Сейчас высылаем. Ты, по-моему, недооцениваешь значения открытия.

— Это даже не открытие. Я наткнулся на стоянку случайно. Но в любом случае пройду теперь вниз по реке. Может, еще что-нибудь увижу.

Капсулу за пленками прислали ровно через двадцать минут. Лунин к тому времени как раз перебрался на катер, чтобы пообедать. В капсуле обнаружилась записка от Володи Ли. Частного характера. «Послезавтра кончаю обработку темы. Могу присоединиться». На записку Лунин отвечать не стал. Сможет — прилетит.

В течение дня его еще раз десять вызывала Станция.

Как будто Лунин нашел не следы палеолита, а, по крайней мере, город с железной дорогой. И через каждый час должен находить по новому городу.

Так и прошел день. И вот сегодня утром он обнаружил вторую стоянку. Может быть, он даже пропускал палеолит раньше. Не рассчитывал найти. Искал кайнозой, в одном месте наткнулся на триас. А на следы человека не смотрел. Теперь же глаза крутились, словно радарные установки. Нет ли скола на куске кремня? Не вход ли в пещеру — темное пятно на обрыве?

Стоянка оказалась небольшой, отбросов мало. Зато в яме, полусасыпанной песком, Лунин отыскал первый череп. И остатки скелета. Череп пришлось собирать по кусочкам — он был раздроблен сильными зубами хищника. А может, зубами сородичей. Стоянка принадлежала гуманоидам. Лунин оказался прав — они не имели никакого отношения к плугам. Вдвое ниже плугов, куда тоньше в кости, с покатым лбом и скошенным подбородком, они все же были куда ближе к разумным людям, чем черные обезьяны. Покружившись по стоянке, Лунин нашел еще несколько человеческих костей. И смог предположить, что жители ее подверглись нападению. Причем враги не только перебили, но и сожрали обитателей стоянки.

Потратив несколько часов на сбор и фиксацию трофеев, на прием и отправку капсул, на разговоры с нахлынувшими на катерах и флаерах визитерами, Лунин пошел дальше. Уже тогда у него появились первые подозрения, но проверить их он не мог. В этом поясе водились медведи и хищники, схожие с крупными волками. Ни те, ни другие не собирались, как установил Ли, в стаи. И вряд ли они могли перебить всех жителей стоянки, числом более десяти. Убить, разорвать буквально на мелкие клочки. Оставались плуги.

И вот теперь, сидя в палатке в одном ботинке и гля-

дя на яростную, в пене, морду жожака-плуга, Лунин испытывал к нему почти ненависть.

Природа жестока к разуму. Еще не окрепнув, не научившись толком осознавать собственное потенциальное могущество, он оказывается среди сильных врагов, и борьба с ними все время нависает дамокловым мечом над самим существованием разумной жизни. Враги — и здесь, и на Земле — всегда зубастее и нахальней, чем предки разумных существ. И нужно перехитрить их, спрятаться от них, выжить... хотя без сильных врагов тоже не станешь разумным.

А плуг все не желал отказываться от добычи. Лунину даже казалось уже, что плуг отождествляет его с троглодитами и относится к нему не только как к добыче, но и как к злейшему врагу, существу, с которым не поделишь власть на планете.

К жожаку присоединились остальные плуги, которые благополучно разделились с башмаком, и в конце концов, когда Лунину надоело глядеть в мохнатые озлобленные морды, он дал ослепляющую вспышку, и плуги разбежались.

Заснуть сразу не удалось. Вызвал Володя Ли. Он, оказывается, уже закончил исследование царапин на костях людей. Следы соответствовали зубам плугов. Обвинение подтвердилось. И, засыпая наконец, Лунин понял, что положение его на этой планете изменилось. Он не только исследователь. Он должен стать и защитником. Наверно, людей здесь осталось не так уж много. Плуги оказались более опасными врагами, чем пещерные медведи для наших предков.

На следующий день пришлось вернуться на Станцию. Из-за башмака. Показалось неудобным просить дежурного: «Пришли мне, голубчик, в капсуле правый башмак сорок второго размера, желательно черный. Мой плуги съели». Да и надо было посоветоваться с Ли и шефом и

получить флаер хотя бы недели на две, чтобы обшарить на бреющем полете бассейн большой реки.

А потом Лунин с Ли три недели обследовали бассейн, возвращаясь на Станцию, чтобы разобрать материалы. И пытались опровергнуть выводы, к которым их толкали новые находки.

Плуги пришли сюда тысячи четыре лет назад. Совсем недавно. Может быть, с другого континента, где их видимо-невидимо. К тому времени первые люди на планете уже научились обкалывать камень и зажигать огонь. Люди не были готовы к войне с громадными обезьянами, организованными в яростные стаи, видящими ночью как днем, с такой толстой шкурой, что каменные наконечники копий не могли ее пробить. Разбросанные по лесу горстки людей становились одна за другой жертвами яростных нападений. Тысячу пятьсот лет, тысячу лет, восемьсот лет насчитывали покинутые и разоренные стоянки. И наконец, на берегу большого мелкого озера, среди торчащих, словно растопыренные пальцы, сизых скал Лунин нашел поле одной из последних, если не последней битвы. Здесь погибло более восьмидесяти людей. Тут же валялись и костяки плугов. Люди научились объединяться, но, видно, опоздали. Битва датировалась полутысячелетием назад. Плюс-минус десять лет. Поиски можно было прекращать. Ни одного человека на планете не осталось.

— Эх, поспешить бы, — сказал кто-то из физиков. — Мы бы их силовым полем прикрыли.

— Пятьсот лет назад?

— А может, еще в прошлом году последние здесь скрывались? Мы же не знаем.

— Вряд ли, — сказал Ли.

— Я понимаю, — сказал физик. — И все-таки жалко младших братьев.

На следующий день Лунин вылетел на большую сто-

янку у обрыва, где из розоватого песчаника вывалились на берег речушки черные конкреции и аммониты высовывались из обрыва, словно завитые рога горных баранов. Там была пещера, у которой тоже лет восемьсот назад шумела битва, наверно, короткая, ночная, как и все битвы, когда в свете костра у пещеры крутились, рычали плуги и, сопя, отмахиваясь от ударов копий, растаскивали камни, которыми люди завалили вход в пещеру.

Лунин осмотрел все закоулки пещеры, разыскивая следы долгой жизни, подобрал рыболовный крючок из согнутой и обточенной кости, нашел выдолбленный камень, куда с потолка пещеры капала вода. Второй, дальний ход в пещеру был широким, и солнце заливало плоский песчаный пол и гладкие стены. У одной из стен лежал обтесанный камень. Над ним были рисунки. Первые рисунки, найденные на планете. Лунин затаил дыхание, словно опасался, что от дуновения воздуха рисунки могут осыпаться, пропасть.

Кто-то выбрал эту стену, чтобы выразить на ней свое удивление перед миром, остановить движение, заколдовать его волшебной силой единства с этим миром и зарождающейся властью над ним. Там был нарисован медведь — горбатый, с неровными вертикальными полосками под брюхом, изображавшими длинную шерсть. Были смешные человечки — две палочки ножек, две палочки ручек. Человечки куда-то бежали. Была лодка и над ней солнце. Песчаник и мел надоумили художника (а может, он был и первым жрецом?) пользоваться разными красками. Солнце было красным, человечки белыми.

Лунин медленно передвигался вдоль стены, читая все новые рисунки. Черный плуг. Сутулый и оскаленный. Плуг был маленький. А рядом большой красный человек, который пронзил плуга копьем. Рисунок был не-

правдой. Искусство, еще не родившись толком, уже начало мечтать.

И у Лунина испортилось настроение.

Он вспомнил, что камера осталась во флаере и надо возвращаться туда.

Но перед тем как уйти, он выглянул наружу, нет ли там других рисунков. Рисунок был. Один. Плоская глыба, нависшая над стеной у входа, сохранила его от дождей. Рисунок был крупнее других, свободнее в линиях, будто вне пределов пещеры художник мог отступить от канонов, рождающихся вместе с искусством.

Это был олень. Красный олень, нарисованный легко и небрежно, запечатленный памятью художника в момент прыжка.

Лунин бежал к флаеру. За камерой. У него даже закололо в сердце. Он свылся уже с тем, что разум на этой планете погиб, только успев родиться. И сожаление по этому поводу и даже раздражение против плугов были несколько абстрактными. В конце концов, перед ним был исторический факт.

А существование оленя, полет разрушили ход абстрактного мышления. Окончателность смерти разума стала трагедией, задевшей самого Лунина. И оттого родился страх перед возможной гибелью красного оленя. От землетрясения, дождя — черт знает от чего.

Он сказал только, включив на секунду рацию: «Нашел наскальные рисунки. Сниму, зафиксирую, потом выйду на связь. Ждите». Схватил камеру, консервант и поспешил обратно. Он шел быстро, но осторожно, стараясь не наступить на кости и осколки камней. И когда до второго выхода из пещеры оставалось несколько шагов, замер. Ему показалось, что там кто-то есть. Да, он теперь уже ясно слышал сопение. Лунин закинул камеру за плечи, положил ладонь на бластер, заряженный парализующими патронами. Сопение не смолкало. Будто

маленький паровоз разводил пары под скалой. Лунин на носках дошел до края пещеры и выглянул.

Худшие его опасения оправдались. Перед красным оленем сидел на корточках громадный черный плуг и старался уничтожить рисунок. Лунин поднял бластер. Еще не поздно. Но не выстрелил.

Он заметил в лапе плуга кусок мела. Лапа дрожала от напряжения. Сопя, подвывая, скалясь, плуг царапал мелом на стене. Как раз под красным оленем. Он уже провел почти прямую горизонтальную линию, от нее пошли короткие палочки вверх. Палочек было четыре, разной длины, одна из них не достала до горизонтальной линии, и плуг принялся тыкать мелом в стену, стараясь белыми точками соединить палочку с линией, прежде чем продолжить свой изнурительный труд.

И Лунин понял, что же старается плуг изобразить на стене. Оленя. Того же оленя, но белого и перевернутого вверх ногами, убитого, ставшего пищей.

Плуг взялся за задачу, которая оказалась ему не по плечу. Ни лапы его, ни глаза не были подготовлены к тому, чтобы снимать копии с произведений искусства. И тем более творчески переработанные копии.

Плуг возил куском мела у конца горизонтальной линии — получилась звезда. Это была голова оленя. Неважно, что она не была похожа на голову, — Лунин и плуг признавали за искусством право на условность.

Плуг отодвинулся от стены, склонил морду набок и замер, наслаждаясь лицезрением рисунка. В нем зарождалось тщеславие. В палочках он видел громадную, теплую еще тушу оленя и потому не искал сравнений с тем, что умели делать уничтоженные враги. Теперь оленю не убежать. Он повержен.

А Лунин почувствовал какую-то странную благодарность, чуть ли не нежность к черной обезьяне и сделал шаг вперед. Плуг в этот момент оглянулся, словно искал

взглядом кого-нибудь, кто оценил бы его труд. Взгляды человека и плуга встретились.

И плуг забыл об олене. В плошках красных глаз вспыхнула бессмысленная злоба, бешенство и страх застигнутого врасплох зверя. Эволюция, сделав неожиданный шаг вперед, была бессильна еще удержаться на новой ступеньке, и шаг был забыт. Не навсегда, конечно.

Плуг метнул куском мела в Лунина — под рукой не оказалось ничего более существенного. Кусок мела отскочил к стене, оставив на груди скафандра белую точку. Лунин инстинктивно отпрянул за выступ скалы.

А когда выглянул вновь, увидел лишь черное пятно — спину плуга, ломящегося сквозь заросли.

Черное пятно исчезло. Листья трепетали, словно под порывом ветра. Треск сучьев затих.

Лунин обернулся к скале. Камень в тени был сиреневым, и на нем светились два оленя. Красный и белый.



1

Мне запомнился один разговор. Ничего в нем особенного — я таких разговоров наслушалась сотни. Но тогда мне вдруг пришло в голову, что постороннему человеку ни за что не догадаться бы, в чем дело.

Моя бабушка сидела в соседней комнате и жалова-

лась на жизнь своей подруге Эльзе. Я к таким беседам отношусь положительно: бабушке полезно выговориться. Специально я не вслушивалась, но работа у меня была скучная, механическая, и некоторые фразы запали в голову.

Я ползала на коленях по полу с тубиком в руке и скальпелем в зубах и подклеивала подкладку пузыря. Разница между дилетантом и настоящим спортсменом-пузыристом заключается в том, что дилетант старую подкладку выбрасывает — невелика ценность. Профессионал склеит подкладку собственными руками и подгонит пузырь по себе так, что его конструктор не узнает. Ведь скорость и маневренность пузыря зависят порой от таких неуловимых мелочей, что просто диву даешься. Мы все такие — профессионалы. Как-то я была на сборах, рядом тренировались велосипедисты — славный пережиток зари механического века. Вы бы посмотрели, как они обхаживали, перекраивали, сверлили свои машины.

И тут я услышала голос бабушки:

— Иногда у меня руки опускаются. Вчера он прыгнул на верхнюю раму телеэкрана и с такой яростью отломал ее, что я боялась — потеряет пальцы.

— Это ужасно, — согласилась подруга.

Всю жизнь у бабушки происходят события, и всю жизнь Эльза выражает бабушке сочувствие.

Они поговорили немного, я не слышала о чем, потом голос бабушки опять проник в мою комнату:

— Я думала, мы его никогда не достанем из-под плиты. Там щель крохотная. А он умудрился забраться в нее ночью, пока все спали.

— Ты, наверно, страшно переволновалась?

— Не то слово. Утром встаем, его нигде нет. Олег (имелся в виду мой папа) чуть с ума не сошел. А я пошла на кухню, только набрала на плите код, как у Ка-

теринки возникло предчувствие. Она заглянула в щель. Просто счастье, что я не успела нажать кнопку. Потом техник мне сказал, что под плитой температура поднимается до ста градусов.

— И он вылез?

— Ничего подобного. Он застрял. Лежит и шипит. Пришлось демонтировать плиту. А техник сказал...

— Но должны же быть какие-то светлые моменты, — настаивала Эльза.

— Ни одного! — отрезала бабушка. — Но самое страшное, я не представляю, что он выкинет завтра.

— Нырнет в мусоропровод? — предложила в качестве рабочей гипотезы Эльза.

— Это он уже делал. Катеринка поймала его за задние лапы. Все приходится держать под замком, все проверять, все прятать. За последние полгода я составила на десять лет.

Последние слова бабушки не соответствовали истине. Выглядела она великолепно. Борьба с Кером придавала ее жизни определенную остроту. Мученический венец бабушку молодил.

И вот, прислушиваясь к этой неспешной беседе и ползая при том со скальпелем в зубах по скользкой подкладке, я пыталась представить себе, что я ничего не знаю. Допустим, я случайный человек, Кера в глаза не видела. Кем он мне привидится? Котенком? Щенком?.. Но уж совсем не чертенком со старой гравюры...

Меня дома не было, когда отец привез Кера. Я держалась на тренировке, поэтому и увидела его последней.

Он сидел на столе и показался мне похожим на голодную, замерзшую обезьянку, забывшую о живости и лукавстве обезьяньего племени. Он кутался в какую-то серую тряпку, с которой ни за что не желал расставаться, и его светло-серые глазищи были злыми и насторо-

женными. При виде меня он оскалился, отец хотел его приласкать, но Кер отмахнулся от отца длинной, ломкой рукой. Потом неловко спрыгнул со стола и заковылял в угол.

— Вот, Катеринка, у нас прибавление семейства, — печально сказала бабушка, которая обожает всяческую живность, но которую, как и меня, Кер страшно разочаровал.

Еще вчера мы были полны энтузиазма и предвкушали радостную и трогательную встречу с несчастным сироткой, которого будем голубить, нежить и терпеливо воспитывать. И вот сиротка сидит в углу, шипит, а из-под серой тряпки выглядывает краешек недоразвитого перепончатого крыла.

До встречи я знала о Кере столько же, сколько любовью другой житель нашей планеты. Его и еще пятерых таких же малышей нашли в спасательной капсуле на орбите вокруг второй планеты в системе, номер которой я, конечно, забыла. На планете было поселение или база. База погибла при неизвестных обстоятельствах. Корабль подняться не успел, но они смогли погрузить своих детишек в спасательную капсулу и вывести ее на орбиту. Может, они рассчитывали, что к ним придет помощь, не знаю. Помощь не пришла, а сигналы капсулы были приняты экспедиционным судном «Вега». Малыши, когда их нашли, были чуть живы. Вот их и привезли на Землю. Куда еще прикажете их везти, если дома у них теперь не было?

«Вега», разумеется, оставила на орбите маяк. Так что, если прилетят спасатели, они будут знать, куда эвакуировали малышей.

Сначала их хотели оставить в специальном интернате. Потом решили распределить по семьям: малышам нужна постоянная забота и родительская ласка. И мой отец получил разрешение взять сироту на воспитание.

Я думала тогда, что некоторые мои подруги лопнут от зависти. Наша семья оказалась почти идеалом по представленным в ней профессиям: отец — биолог, точнее, космобиолог, мама — медик, а бабушка — известный специалист-теоретик по дошкольному воспитанию.

Вот мы и стали жить вместе. Если это можно назвать «вместе», мне не хотелось бы обижать Кера, но некоммуникабельность, существовавшая между нами, была сродни той, что возникает порой между людьми и дикими животными. Допустим, вы селите у себя горностая. Животное подвижное, сильное и красивое. Вы окружаете его лаской, кормите его мясом вдосталь, сооружаете ему удобную постель, но вы думаете при этом, что он если не сегодня, то потом, через неделю, месяц, отплатит вам взаимностью. Но он и сегодня, и завтра, и послезавтра преспокойно кусает протянутую руку, все ворует, создает под подушками запасы гниющего мяса и ждет только возможности, чтобы удрать из дома, вернуться к голоду и неуверенности своего лесного существования. Он убежден, что вы его враг, что все вокруг его враги, заманившие сюда, чтобы съесть. Вот такую аналогию можно было бы провести и с Кером.

Он ничего не хотел понимать. Это не значит, что он в самом деле не понимал. Ему был внушен русский язык, нам — его язык, так что при желании мы могли бы побеседовать. Как бы не так.

Помню, недели через две такой жизни я в минуту раздражения, когда Кер только что разодрал на мелкие клочки очень нужное мне письмо, да при том сожрал эти клочки, сказала ему:

— Дружище, ты что, провоцируешь меня на рукоприкладство? Не добьешься. Я маленьких не бью.

Он сделал вид, что ни слова не понял, подпрыгнул и укусил меня за назидательно протянутый в его сторону палец. Честно говоря, я вечно ходила с распухшими,

ноющими пальцами, а в школе или на тренировках мне не хотелось признаваться, что это работа моего очаровательного сиротки, и я врала напропалую о приходящем ко мне скунсе-вонючке да рассказывала легенды о благодарности и отзывчивости Керочки.

Бабушку он вообще ни в грош не ставил, все ее воспитательные теории разрушал одним махом, маму не замечал, только отца побаивался, что того очень огорчало.

Отец уверял, что по уровню физического и умственного развития наш новый ребенок равен десятилетнему. И растет он быстрее, чем мы. Так что мы встретились с ним, когда мне было тринадцать, ему будто бы десять. А к моим семнадцати мы должны будем сравняться. При условии, конечно, что физиологи не ошиблись.

Глупым его назвать было нельзя. Доказательством тому случай с дневником наблюдений. Дневник — название условное. Над Кером, как и над другими малышами, велось постоянное наблюдение. Камеры, скрытые в стене комнаты, постоянно фиксировали его жизнь. А кроме того, мы договорились записывать в толстенную книгу, не знаю, где ее раскопала бабушка, все интересное, что, на наш взгляд, происходило с Кером. Читать он не умел. Его этому еще не учили, но как-то догадался, что периодические обращения людей к толстой книге имеют к нему прямое отношение. Может, просто связал последовательность событий — дети ведь такие наблюдательные. Стоило ему чего-нибудь натворить, бабушка или я, папа реже, хватались за книгу и начинали в ней царапать. Так вот, книга исчезла, и мы сначала даже не догадались, что это его рук дело. Он и виду не подал. Так же кусался, отказывался от бабушкиных коржиков и бабушкиных нотаций. И в глазах у него стояла та же пустота и злоба на нас, на весь наш земной, в общем тепло к нему расположенный мир.

Я тогда пыталась узнать у отца, как обстоит дело в

других семьях, которые взяли на воспитание малышей. Оказалось, то же самое. В той или иной степени. У одного профессора Кембриджского университета жила девочка из спасенных. Она никого даже узнавать не хотела. К нам приезжал психиатр, так он сознался, что «на данном этапе мы бессильны найти путь к их сердцам», и уехал, а бабушка потом корила его: «Разве можно так говорить о детях?»

Так вот, книгу он боялся, ждал, видно, от нее каких-то неприятностей, и решил сжечь ее в саду, для чего обломал ночью ветви яблони, сломал сиреневый куст, сложил все в кучу, поджег, только сырые ветви плохо горели, этого он не знал.

Сначала приехали пожарники, потом мы сами проснулись. Гляжу в окно — там страшные прожектора, тревожно; оказывается, пожарный разведчик унюхал дым и приехал нас спасать. Кер сбежал в дом, улегся, весь мокрый, измазанный сажей, в постель и делал вид, что ничего не произошло. Книгу он испортил намертво, но был собой доволен и в ответ на наши укоризненные взгляды радостно скалился — зубки острые, хищные.

Летать он не может. Растопыривает крылышки, становится похожим на летучую мышь и как будто понимает при этом, что нелеп и даже смешон в наших глазах. А летать ему хочется, он может часами сидеть у окна, смотреть на птиц, он себя чувствует ближе к птицам, чем к нам. А однажды кошка поймала летучую мышь. Он, как увидел, бросился к кошке, чуть не убил ее, мышь отнял, только она уже была задушена. Никто у него эту мышь отнять не смог, бабушка переживала, плакала у себя в комнате, он сам мышь похоронил где-то, закопал. Наверно, решил, что мышь ему дальняя родственница. А за кошкой с тех пор гонялся, шипел на нее, бабушка даже отдала ее потом своей племяннице от греха подальше.

Я нашла эти мои записки, личные записки, только для себя, и удивилась — ведь прошло три года. Мне уже шестнадцать, нашему чуду полосатому — неизвестно сколько, но он уже почти взрослый. Он подросток. Но так как я тоже подросла, и солидно, то он все равно только-только достает мне до пояса. Три года — это очень много, жутко много, то, что было со мной три года назад, то, что я делала и думала, мне кажется совершенно чужим и глупым, словно происходило это с другим человеком. Это была неглупая и довольно образованная тринадцатилетняя девочка, а теперь... теперь у меня другие интересы.

А вот что касается Кера, то мне кажется, он появился в нашем доме всего несколько дней назад. Я отлично помню и тот день, и первые слова, которые были сказаны, и первые переживания.

Кер тогда сначала прожил у нас год. Весь год мы носились с ним как с писаной торбой. Мама мне потом как-то сказала: «Мне даже неловко, сколько родительской ласки мы отняли у тебя ради нашего звереныша». Я не очень из-за этого расстраивалась. Мне родительской ласки хватало, особенно если учесть, что я человек самостоятельный и отлично могу обойтись половиной нормы.

Всем нам было грустно оттого, что наше терпение и внимание пропадали втуне. Он разорвет мой рисунок или еще чего нашкодит, я ему говорю: «Ну скажи, чудо глазастое, за что ты меня ненавидишь?» — «За то», — отвечает. Он вообще предпочитал обходиться без помощи внятной речи. Фраза длиннее двух слов ему была отвратительна. Чаще всего он ограничивался двумя выражениями: «Нет» и «Не хочу». Потом добавил к этому словарию «уйди». Учиться он тоже не хотел. Тут

уж мы были совершенно бессильны. А через год его у нас вдруг забрали.

Тогда отец пришел домой и сказал:

— Завтра Кер уезжает.

В этот момент Кер был занят тем, что рисовал черной краской квадраты на золотистой обивке дивана. Он не знал, что краска смываемая, и его смущало, что никто его не останавливает. Кер поднял ухо, услышав эти слова, но рисовать не перестал.

— Почему? — удивилась бабушка. — Разве ему у нас плохо?

— Плохо, — сказал отец. — Он здесь всегда чувствует себя подавленным.

Кер провел черной краской длинную полосу, довел ее до пола и застыл в неудобной позе, подслушивая, что будет дальше.

— Мы настолько чужды ему, что боюсь, мы скорее травмируем его, чем воспитываем.

— И куда же его отправляют?

— Создана база — изолированный центр, где условия, надеются ученые, приближены к привычному для него окружению. Туда отправляют всех малышей. Они будут дальше расти все вместе.

— Но он уже к нам привык, — возразила я без особой убежденности.

— Привык? — удивился отец.

Кер обмакнул кисть в краску и умело забрызгал меня с головы до ног. Когда я отмылась, отец объяснил, что малышу надо жить в коллективе себе подобных, что еще неизвестно, когда ему удастся вернуться домой, а пока я должна представить себе, хотела бы я провести годы в одиночестве, среди родственников Кера, или предпочла бы жить в детском саду, вернее интернате, с такими же, как я, детьми? Я не смогла дать вразумительного ответа, а Кер всю ночь не спал, ворошил на-

копленные им за последний год богатства — он великий барахольщик, тащит себе в комнату все, вплоть до склянок, черепков, камешков, старых бумажек, сучков и веток, удививших его своей формой или фактурой. Утром обнаружили Кера внизу, в прихожей. Завтракать он не хотел, собрав свои богатства в мешок, сидел рядом с ним, словно боялся пропустить поезд.

— Нет, — сказала бабушка, которая встала первой и очень расстроилась, что Кер никак не выразил жалости по поводу отъезда. — Так ты не уедешь. Ты сначала позавтракаешь, как все люди.

— Не хочу, — проквашал Кер. Губ у него нет, рот смыкается плотно, даже не увидишь, где эта щель, зато как откроет — словно у лягушки.

— Рад, что уезжаешь? — спросила я, спустившись вслед за бабушкой. В этот вопрос я попыталась вложить всю свою обиду на неблагодарного звереныша.

Кер поглядел на меня в упор и не удостоил ответом.

Завтракать он так и не стал, дожидался отца на пороге. Мы вышли с ним попрощаться, он нырнул в флаер и спрятался там. Флаер улетел. Мы с бабушкой вернулись в дом, настроение было поганое, реветь хотелось, а бабушка все время себя казнила за то, что не нашла к нему подхода.

— Пойми, Катеринка, — говорила она мне. — Ведь, в конце концов, отец прав. Совершенно прав. Нас все-таки много, а он один. А что мы знаем о том, как с ним обращалась его мать? Может, его надо по утрам гладить по голове?

— Я видела, как ты гладила, экспериментировала. Он тебя цапнул.

Я была непримирима. Кер меня оскорбил. Ну и скатертью дорога.

Так мы и злились целый день. Вечером вернулся отец, рассказал, как все удачно придумали для малы-

шей, как там все рассчитано по их росту, а температура, влажность и так далее вычислены по оптимальным параметрам.

— А как они его встретили? — спросила бабушка.

— Кто?

— Ну, остальные малыши.

— Как? — отец пожал плечами. — Спокойно. Равнодушно встретили. И не пытайся, мама, прилагать к ним наши эмоции. Взглянули на него и занялись своими делами...

А той же ночью произошло чрезвычайное происшествие. Трое из шестерых малышей удрали из своего нового дома, проявив при этом большую сообразительность. Нас предупредили, потому что Кер мог вернуться и домой. Но он не вернулся. Их всех поймали у космодрома, как они умудрились добраться до него — непостижимо. За ночь они прошли шестьдесят километров. А ведь они еще дети.

Беглецов вернули на базу, объяснили им в который раз, что никто, к сожалению, не знает, в какой стороне находится их дом, они, в который раз, не обратили никакого внимания на эти слова и уговоры. Будто не слышали.

Потом прошло три или четыре дня без всяких происшествий. Это не значит, что мы забыли о Кере, нет, все-таки в доме оставалось множество следов его разрушительной деятельности — и утром четвертого дня, когда я поднялась за чем-то в ту комнату, где раньше жил Кер, а теперь отец решил сделать мастерскую, Кер мирно спал на верстаке, подложив под голову мешок со своими богатствами.

— Ах! — сказала я. И очень обрадовалась.

Он открыл глаза и показал мне кулачок. Молчи, мол.

— Ни в коем случае, — сказала я. — Ты же рециди-

вист. Все хотят сделать для тебя как лучше, а ты всем делаешь как хуже.

Кер изобразил полное отчаяние, уткнулся носом в мешок, но я продолжала:

— Сейчас тебе придется отправляться обратно на базу, где живут твои товарищи, потому что из-за тебя беспокоятся люди...

Не знаю, что меня тянуло за язык. Может, когда ему сказали, что нужно уезжать, он слишком быстро собрал свой мешок и уж очень хотел скорее убраться отсюда?

Тут Кер сиганул в открытое окно, и, когда я, спохватившись, что же я делаю, бросилась за ним, его и след простыл.

На шум поднялась бабушка, которую мучили предчувствия, а там прибежала и мама, потому что уже позвонили с базы и сказали, что Кер и еще один малыш, который тоже жил недалеко от Москвы, снова сбежали.

Мы искали Кера всей семьей, облазили сад, все его укромные уголки, но не нашли. Обнаружил его отец. Кер, оказывается, незаметно вернулся в свою комнату и уже успел разорить верстак, на котором ему спать неудобно, показывая этим, чтобы ему возвратили его постель.

После долгих переговоров с базой нам разрешили оставить Кера у себя, раз уж он сам того хочет. А вскоре и остальные малыши разъехались по прежним домам. Только двое остались на базе. Видно, как рассудила бабушка, в своих земных семьях они не получили той заботы, которую мы, то есть в первую очередь бабушка, смогли обеспечить нашему сорванцу. Бабушка тщеславна, но, очевидно, это характерно для всех бабушек, когда дело касается их внуков.

И вы думаете, что после всех этих приключений Кер стал спокоен, послушен, начал учиться и уважал стар-

ших? Как бы не так. Все пошло почти по-прежнему. Не совсем по-прежнему, потому что бабушка ввела в разряд наказаний угрозу вернуть его на базу, которую почему-то именovala «приютом», и эта угроза действовала. И еще не совсем по-прежнему, потому что Кер немного повзрослел, и я стала замечать, что он ворует у меня видеопленки и ночами крутит их на своей учебной машине. Не знаю уж, что он в них понимал, но, наверное, ему было интересно.

А в общем, хоть и стал он членом нашей семьи, и мысль о том, чтобы он куда-то уехал, кажется даже смешной, родным я его не чувствую. Может, и оттого, что он мне не простил маленькой мести в тот день, когда сбежал из «приюта». С другими членами нашего семейства он, скажем, лоялен, мне он — враг номер один. И несколько раз, когда ко мне приходили гости, он врывался в комнату и нахально безобразничал, специально, чтобы довести меня до белого каления. Правда, ему это не удавалось, а если гости не пугались его, а смеялись, то он быстро скисал и уползал к себе в комнату.

И еще одно: в этом году Кер научился летать. Сначала он насажал себе шишек, сгаяя с деревьев и крыш, а потом у него стало получаться вполне прилично, правда, он высоко не поднимается и летит довольно медленно. Крылья у него отросли и напоминают мне крылья самых первых аэропланов. Но они очень тонкие и складываются на спине, словно хребет древнего ящера. Иногда он позволяет бабушке почесать крыло, расправляет его, и зрелище это, доложу я вам, совершенно фантастическое: представьте мою интеллигентную старушку, которая сидит в кресле, полузакрытая серым тонким крылом, у ног ее расположился самый настоящий черт, который жмурится от удовольствия. Кер стесняется, если кто-нибудь увидит его в столь легкомысленной позе, шипит и делает вид, что пришел за книжкой или плен-

кой, а бабушка ворчит, что им с Кером не дают поговорить по душам, хотя я клянусь, что ни о чем они не разговаривают. Они молчат и наслаждаются самым процессом общения.

А с поисками их настоящего дома дело пока не движется. Я все понимаю, но мне грустно сознавать, что, может быть, этим существам придется всю жизнь провести здесь.

А я уже три месяца как в сборной Москвы. Я считаю себя неплохой пузыристой. Странное это слово — пузыристка, мне всегда кажется, что за этим должно скрываться что-то толстое и розовое. А я, как известно, не толстая и не розовая. Вот научится Кер летать лучше, возьму его как-нибудь с собой. Пусть посмотрит, что его врагиня тоже на что-то годится.

3

Никогда ничего нельзя предусмотреть в жизни. Я сейчас достала свои старые двухслойные записки с промежутком в три года и подумала уже не о том, изменилась ли я сама, а об изменении самой сути событий. Я прочла записки, не думая, что продолжу их — подростковая графомания меня уже оставила, — но незаметно для себя самой начала писать, окунаясь в прошлое, далекое и совсем недавнее.

В общем, прошло немного времени. Несколько месяцев. И конечно, если бы все шло как положено, писать было бы не о чем. Но заболела и умерла бабушка. И случилось это, в общем, незаметно для всех. Бабушка была вечной, и, если она прихварывала, это воспринималось в порядке вещей. Бабушка часто прихварывала, у нее было плохое сердце, а на операцию она не соглашалась, почему-то она искренне была уверена,

что искусственные клапаны человеку противоестественны.

Умерла бабушка, когда никого не было дома. Кер в тот день улетел к своему соотечественнику, жившему километрах в ста от нас, в доме одинокой профессорши. Улетел он не на крыльях, на флаере, он не любил любопытных взглядов и расспросов. Он, разумеется, уже не кусался, не шипел, встретившись с незнакомым человеком, но старался уйти или улететь, в общем, избегнуть встречи. Я была на соревнованиях, отец с матерью на работе. Кер вернулся домой раньше всех и нашел бабушку мертвой. Он, конечно, не сообразил вызвать «Скорую помощь», хоть это уж никому бы не помогло — бабушка умерла часа за два до его возвращения, — а попытался вытащить ее из дома, положить ее в флаер... Тут вернулся домой отец.

Я несколько недель после этого жила под впечатлением бабушкиной смерти. Все из рук валилось. Ну как же так? Ведь вот бабушкины вещи, вот ее книга недочитанная, а в шкафу ее платье, которое она с такой помпой шила себе к семидесятилетию и с тех пор ни разу не надела. Какая несправедливость, что вещи живучее людей. И я даже подумала, что был смысл в обычаях скифов, которые предавали огню все, что оставалось на этом свете от человека, чтобы ничего не напоминало о нем близким. Они знали цену забвению. А может, это были не скифы, а может быть, они были не правы... Я места себе не находила, не появлялась в институте Времени, где у меня была практика, забросила все тренировки, хотя на носу было первенство города. Всем было плохо, но оказалось, что хуже всех Керу.

То ли он еще не сталкивался в своем мире со смертью, то ли забыл об этом, маленький был, но удивительнее всего, что он просто возненавидел всех нас за

это. Ни с кем не хотел общаться. Сидел у себя, никуда не вылезал. Только один раз спустился вниз, зашел в библиотеку, подставил стул к шкафу и вытащил оттуда все старые детские книги, которые когда-то принадлежали мне, а потом бабушка их читала Керу. В первый год, пока он у нас жил. Я тогда думала, что он их и не слушает, даже посмеивалась над бабушкой: «У них крокодилы по улицам не ходят, а что такое рассеянность, он никогда не поймет». — «Ты же поняла, — отвечала бабушка и продолжала: — «Вот какой рассеянный с улицы Бассейной...» Кер сидел в углу и делал вид, что рассматривает потолок.

Так вот, он все эти книги собрал, отнес к себе и положил у кровати. Больше ничего не взял. На похороны бабушки не пошел, может, и не знал, что это такое, или не захотел. И на ее могилу ни разу не пошел. Он стал уже коренастый, как шар, ноги у него короткие, кривые, никакой одежды он не признавал, даже в самые морозы, и вообще, по-моему, на перемены температуры не реагировал. Только в последний год накидывал распашонку на меху, с прорезью на спине. Когда бабушка умерла, он эту распашонку выкинул, и я поняла, что носил он ее только ради бабушки. А может, я так придумала, потому что тогда мне хотелось так думать.

И стал он какой-то потерянный, словно его обманули. Он стал внимательно смотреть за мамой, я думаю, потому, что она казалась ему похожей на бабушку. Он боялся и ее потерять. Мы с мамой об этом ни разу не разговаривали, но она наверняка понимала, и даже тон у нее в разговорах с Кером (какие там разговоры — мама говорит, он, как всегда, молчит) стал какой-то заговорщицкий, словно они знали что-то, чего нам, непосвященным, знать было нельзя.

Со мной он общаться не хотел.

Прошло месяца три с бабушкиной смерти, и наша

жизнь как будто вошла в колею. Кер все чаще пропадал у своего соотечественника, тот тоже к нам прилетал. Они уходили далеко от дома, в лес, о чем-то говорили, и мне их было жалко.

Иногда Кер прилетал со мной на тренировки. Ему, видно, нравилось смотреть, как мы гоняли в пузырях. Он чаще всего оставался в флаере, наблюдал за мной из окошка, и я всегда чувствовала его взгляд. Однажды он почему-то обеспокоился за меня, или мне хотелось так думать, поднял флаер и взлетел.

Попало за это мне — считается, что флаер может повредить шар, хотя это чистая теория. Инструктор читал мне нотацию. Он отлично знал, что я ни при чем, но читал, чтобы приструнить Кера. Кер тут же улетел, даже не подумав, что мне тоже нужен флаер, чтобы вернуться домой. И месяц после этого на аэродроме не появлялся. Потом возобновил свои поездки со мной.

В июле мы отправились на соревнования в Крым. Там в Планерной отличные восходящие потоки. Мы с Кером подогнали мой пузырь, проверили каждый квадратный миллиметр, ставка была высока — если я войду в тройку, значит, я войду в сборную. Кер знал об этом.

Когда мы утром выгрузились в долине, я долго стояла, гладела в небо, я всегда люблю глазеть на летающие пузыри. Они казались воздушными шариками, упущенными неловкими малышами, они отсвечивали как мыльные пузыри, и люди внутри пузырей были почти не видны.

Участников на те соревнования собралось человек триста, не меньше. Некоторые прибыли издалека. Прямо над моей головой тянулась цепочка пузырей киевской команды. Мне ребята еще в Москве говорили об их шарах: их шары больше размером, чем наши, и казались полосатыми — красными с желтым. Изнутри они, ко-

нечно, прозрачные, но снаружи цветные. Киевляне сильны в групповых соревнованиях. Их шары крепятся друг к дружке с лёта, словно прилипают, и мгновенно перестраиваются в цепочки, круги, кресты, рассыпаются, как разорванная нитка бисера, и вновь безошибочно находят соседа. Я знаю, как сложно работать в фигурном летании, сама больше года была в московской команде, пока не перешла в одиночницы.

Потом я залюбовалась таджиками слаломистами. Один за другим их шарики скользили между прихотливо натянутыми тросами трассы, замирали на мгновение, падали вниз и спиралью взмывали к небу. Хотелось даже прищуриться, чтобы разглядеть тонкие ниточки, за которые их тянул, как марионеток, невидимый кукловод. И тут же я увидела голубой, известный здесь каждому, шар Раджендры Сингха — скоростного аса, прошлогоднего чемпиона, моего соперника. Сингх своих карт не раскрывал, парил неспешно над полем, словно взлетел, чтобы полюбоваться природой. Я помахала Сингху, хотя вряд ли он мог узнать меня с высоты.

Я подошла к знакомому парню из ленинградской команды. Он только что влез в пузырь и не успел еще застегнуться. Пузырь казался прозрачной тряпкой, пластиковым мешком.

— Помоги мне, — сказал ленинградец. Тут он увидел Кера, раньше они не встречались, и вздрогнул от неожиданности.

— Ой, — сказал он. — Что это?

Кер обиделся, насупился, он такого фамильярного обращения не терпел. Я выругала ленинградца:

— Разве так можно? Ты к нему как к собачонке обратился.

— Я ничего такого не сказал. А он откуда?

— Это мой брат, — сказала я.

— Родной? — не унимался ленинградец, который все еще не мог уразуметь, что я не намерена шутить.

Я краем глаза следила за Кером, но его увидели ребята из моей команды, они его знали и нещадно эксплуатировали. Это было лучше, чем умиление или удивление. Я услышала, как Света Сахнина крикнула ему:

— Кер, голубчик, ты что такой грустный? Поднимись метров на пять, проверь направление потока.

Тот послушно взмыл в небо и начал парить, поднимаясь выше и опускаясь, а мой ленинградец смотрел на это разинув рот. Тогда я сказала ему:

— Залезай внутрь. Сколько я должна тебя ждать.

Я, надо сказать, гордилась Кером и с каждым днем все более проникалась уверенностью в том, что он по-своему красив, как красиво любое функционально устроенное тело.

Ленинградец, продолжая удивляться, забрался в свой пластиковый мешок. Я задраила ему верхний люк, и он начал надувать свой пузырь. Он проверил винт — тот нормально отработал на холостом ходу, махнул мне рукой, чтобы я отцепила балласт. Я сняла чушку, пузырь резко взлетел в воздух и завис над моей головой. Ленинградец висел внутри пузыря, как паук в паутине, и я отметила, что крепления у него расположены не очень надежно. Ленинградец накренил пузырь, проверяя его маневренность, винт сзади превратился в сверкающий круг, и пузырь пошел вверх, набирая высоту.

Кер притащил мне мой пузырь, и я решила его испытать. Поднимаясь в воздух, я никогда не включаю винт, пока не наберу порядочной высоты. Очевидно, никто, кроме самых первых авиаторов, не испытывал никогда этого удивительного ощущения — лететь в небе, как будто под тобой ничего нет. В любительских пузырях именно из-за этого делается небольшая непрозрач-

ная подстилка внизу, а то с непривычки кажется, что ты можешь упасть с высоты.

Изнутри стенки почти не видны, а крепления, которыми я подвешена к центру пузыря, мы с Кером сделали тоже прозрачными. Поэтому ничто не мешает мне представлять, что я лечу сама по себе, как во сне.

Кер поднимался рядом со мной, смотрел на меня злыми глазами, я знаю почему — он не выносит, когда я поднимаюсь больше чем на полкилометра — тогда он не может следовать за мной и перестает ощущать собственное превосходство.

Я включила двигатель и быстро оставила Кера внизу. Пузырь слушался меня безукоризненно. И именно в тот момент я поняла, что нет у меня соперников здесь, что я всех обгоню и на скоростных гонках, и на слаломе — трасса его, проложенная между подвешенными с аэростатов тросами, была одной из сложнейших в мире, и с утра мне надо будет опробовать ее. Кер черной точкой реял подо мной, спускаться на землю не хотел, но и выше ему было не подняться.

И тут мои мечты потерпели неожиданное крушение. Все из-за какого-то сумасшедшего курортника. Он вылетел на флаере из-за горы и быстро пошел напрямик. Никто его вовремя не заметил, не приземлил. Увидев столько шаров, парящих в воздухе, он испугался, что может столкнуться с ними, пустил флаер как-то наискосок, чтобы уйти от верхних пузырей, свободно паривших в воздушных потоках, и я оглянуться не успела, как он благополучно врезался в мой шар. Такое случается раз в десять лет. Если бы я взлетала по расписанию, если бы не моя самостоятельность, когда я, думая, что лишь проверю крепления, даже парашюта надевать не стала, ничего бы не случилось. Пузырь — самый безопасный в мире вид транспорта, у него два слоя обшивки, он прочен и эластичен.

Когда этот курортник в меня врезался, он умудрился ударить по пузырю единственной острой деталью флаера — стабилизатором, ровненько так распороть внешнюю оболочку почти пополам и сделать значительную дыру во внутренней. Воздух стал уходить с такой скоростью, что шар сморщивался на глазах и пошел вниз. Я только успела включить до отказа поступление воздушной смеси, но результат совсем не оправдал ожиданий: с таким же успехом я могла бы вычерпывать воду из сита.

Все слишком быстро произошло; я даже испугаться не успела. Да и высота у меня была небольшая. Земля неслась мне навстречу, а я все придумывала, что мне надо сделать по инструкции, чтобы не разбиться. Я ничего не успела.

Ребята, которые смотрели снизу, только ахнули, когда увидели, как меня погубил дурацкий флаер, а тренер крикнул им, чтобы развернули еще не надутый пузырь и подняли. Но конечно, они бы не успели ничего сделать — уж очень быстро я падала вниз.

Володя Дегрелль, один из немногих, сообразивших, что произошло, бросил свой пузырь так, чтобы попасть под меня у самой земли. Он страшно рисковал, он, конечно, большой мастер, один из десятки лучших слаломистов Европы, он почти успел, но тоже только почти. Успел лишь Кер.

Ему (и мне, конечно) повезло, что он кружил почти подо мной, поглядывал вверх, словно предчувствуя неладное. И тут он видит, что я благополучно валюсь с неба в пузыре, который на глазах превращается в прозрачную тряпку со мной в центре. Надо ж было ему сообщить — он полетел вниз с такой же скоростью и, когда поравнялся со мной, всего метрах в пятидесяти-семидесяти от земли, подхватил меня и начал отчаянно бить крыльями, чтобы задержать мое падение.

И в результате мы с ним грохнулись на киевский пузырь, который подбросил нас вверх, и упали на растянутое ребятами полотно. Это не значит, что мы не расшиблись. Мы, конечно, расшиблись. Я отделалась синяками, а Кер сломал пальцы правой руки и вывихнул ногу.

Нас кое-как залатали, все слишком много говорили о Кере, о его сообразительности, решительности, а он терпел перевязки — наркоза ему дать нельзя, — было ему страшно больно, но он терпел. Очень был на меня зол, шипел, как три года не шипел, тогда я, хоть и все во мне болело, протянула ему руку и сказала:

— Хочешь, укуси, если легче станет.

А он отвернулся и больше на меня не смотрел, хоть я, как только встала через два дня, сразу приползла к нему и уж не отходила от его постели.

Приходил с извинениями тот идиот-турист, он оказался очень милым парнем, океанологом, он мне даже понравился, и я на него не сердилась, но Кер глядел на него таким мрачным взглядом, что океанолог вскоре ушел, смущенный и запуганный.

Мы вернулись в Москву, так я и не попала в сборную, меня даже на полгода отстранили от полетов за то, что я поднялась без парашюта.

Я уже встала, Кер еще лежал, у него плохо срастались пальцы, все светила космобиологии побывали у нас дома, его навещали и другие бывшие малыши, я часто сидела с ним, и он, большой уже, взрослый, когда никто не видел, просил меня знаками — ему все время было больно, — чтобы я читала ему вслух детские книжки, которые читала ему бабушка.

Но бывают такие заколдованные круги. Вот меня не было дома, когда Кер приехал, и не было дома, когда стало известно, что ему надо уезжать.

Раз уж я совсем выздоровела, то сидеть дома до конца каникул не было смысла. И Кер это тоже понимал. Он немного окреп, ходил по дому, стал заниматься — он решил все-таки пройти университетский курс. А я отправилась в туристский поход. В самый обычный, на байдарке, на две недели. Кер остался в Москве.

Я помню, вечером лежала я у костра, смотрела на звезды и думала: «Вот на одной из них живет родня моего Кера и не знает, как далеко его занесло от дома и он вынужден рисковать своей жизнью из-за своей старшей сестры, которая ему вовсе и не сестра и которую он в лучшие времена и узнавать бы не захотел». И еще я думала, каково ему смотреть на эти звезды и понимать то же, что понимаю я.

Тут я услышала, что к берегу пристала чья-то чужая байдарка — другие туристы приехали. Я не стала вставать, не было настроения. Только краем уха слышала, о чем они там говорят. Потом слышу, один из приехавших, прихлебывая чай, вещает:

— А вы когда-нибудь видали крылатиков? *

— Кого? — спрашивает Ирина, моя подруга.

— Крылатиков. Знаете, несколько лет назад их нашли в космосе и потом на Землю привезли?

Я насторожила уши, догадавшись, о чем речь. Правда, я никогда раньше не слыхала, чтобы их так называли. Ну ладно, что делать, надо же какое-то им иметь название.

— Знаю, видала, — говорит Ирина равнодушным голосом. Она человек сдержанный и не стала объяснять им, что с одним из крылатиков, с Кером, она даже отлично знакома.

— Вот, а я не видал, — говорит приехавший. — И чуть было конфуз не получился. Мы сейчас, часа полтора назад, шли по реке, вдруг прямо из-за облаков выныривает громадная птица...

— Скорее летучая мышь, — поправил его другой голос.

— Ну, летучая мышь. И прямо на нас. Хорошо еще, что мы не охотники и нет у нас ничего с собой.

Я вскочила. Что-то случилось. Кер ищет меня.

— Катеринка, — позвала меня Ира, — ты слышала?

— Я возьму байдарку, — сказала я.

— Хорошо, конечно.

Я искала в темноте весла. Сергей подошел ко мне и помог снести байдарку в воду.

— Я поеду с тобой? — спросил он.

— Нет, — сказала я. — Мне одной быстрее.

— Ты ошибаешься, — сказал Сергей. — Мы будем грести вдвоем.

Я больше не стала спорить.

— А он окружил над нами и полетел дальше, — донесся до меня голос.

До поселка мы добрались только к трем часам ночи. В поселке на почте лежала телеграмма от отца: «Прилетай немедленно. Кер уезжает».

Именно будничное слово «уезжает» поразило меня своей окончательностью.

Я разбудила лесника, вымолила у него рабочий флягер и полетела домой. Может быть, если бы я догадалась прямо рвануть на космодром, я бы успела.

Дома никого не было. Только записка от Кера. Она была наговорена на машинку, и буквы были правильные, равнодушные:

«Я вернусь».

И все. Тогда я бросилась к видеофону, набрала информацию. Там мне сказали, что особый рейс уходит через шесть минут. И подключить меня к нему уже не могут.

И тогда еще я могла бы успеть. Как оказалось, рейс все-таки задержался, почти на полчаса, а мой запасной

пузырь домчал бы меня до космодрома скорее. Но я, как последняя дура, бросилась на диван и разревелась. Я была жутко обижена на жизнь, на себя, на отца, который не предупредил, на Кера, который не нашел меня. Тогда я не знала, что вылет задержался именно из-за него, потому что он обшарил все притоки Оки и вернулся еле живой, что его чуть ли не силком затащили в корабль его соотечественники. Потому что там все решали минуты: корабль, шедший к их системе, принадлежал не Земле, надо было на планетарном судне выбросить их на орбиту Плутона, чтобы перехватить звездный корабль. И узнали об этом слишком поздно, потому что информация, полученная о планете Кера, пришла на Землю с оказией и не сразу разобрались, что к чему.

Отреветившись, я поднялась к Керу в комнату. Там все осталось на своих местах. Он ничего не стал брать с собой. Кроме трех детских книжек. А отказаться от полета он тоже не мог. У каждого есть свой дом.



1

Я привез Люцине «полянку». При виде этого подарка Люци села на диван и долго сидела в полном оцепенении. Нет ничего приятнее, как делать подарки. От которых человек цепенеет. Я сел напротив и рассматривал Люцину, преисполненный тщеславия, и

ждал, пока она придет в себя, чтобы сообщить мне мои жизненные планы на ближайшие дни.

— Полянка, — сказала Люцина бархатным голосом. Получилось «польанка» — изящно и нежно.

— А ты знаешь, почему «полянка»? — спросил тогда я.

— Нет. Наверно, потому что красиво, наверно, потому что на ней узоры переливаются, как цветы на полянке, как полянка в лесу...

— Ничего подобного. Эту бабочку назвали по имени Теодора Поляновского, Теодора Федоровича, такое вот странное имя.

— Да? — сказала Люцина рассеянно, поглаживая тонкими, длинными пальцами нежнейший ворс полянки. — Это интересно. Польановский.

Ей это было совершенно неинтересно, она вновь оцепенела, а мне хотелось рассказать Люцине о Поляновском, мне хотелось доказать ей, что Поляновский некрасив, скучен и зануден, неосмотрителен и даже глуп. Что его отличает от прочих смертных удивительная настойчивость, упорство муравья, цепкость бульдога и способность к самопожертвованию ради дела, даже если это для других смертных и яйца выеденного не стоит. Хотя кто может рассудить, что важнее в нашем перепутанном, сложном мире? Хорошо было жить в тихом, провинциальном двадцатом веке, когда все было ясно, Ньютона почитали за авторитет и Эвклида изучали в школах, когда люди передвигались с черепашьей скоростью на самолетах, а на маленьких полустанках притормаживали ленивые поезда. Теперь о тихой глади того времени могут лишь мечтать бабушки, а внуки, как и положено внукам, не дослушивают медленных бабушкиных рассказов, убегают, улетают... Наверно, я старею, иначе чего это меня тянет в спокойное прошлое?

Поляновский сочетал в себе скорость и решительность нашего времени с настойчивой последовательностью прошлого века. Он идеал, выпавший из времени и чудом державшийся в пространстве. Чудом, но с какой хваткой!

Меня вызвал к себе начальник шахты Родригес и сказал:

— Ли, к нам приехал гость. Гостю надо помочь. Поведешь его в шахту?

— Поздно, — отказался я. — Со вчерашнего дня шахта закрыта, и ты знаешь об этом лучше меня. Со дня на день пойдет вода.

— Особый случай, Ли, — объяснял Родригес, прикрывая правый глаз. — Познакомься.

И тут я увидел в углу человека, который сидел, сложившись, наверное, втрое, и глядел в землю. Но первое впечатление было обманчивым. Он только ждал момента, чтобы броситься в бой. Он уже сломил негсибаемого Родригеса и намеревался подавить меня.

— Здравствуйте, — поздоровался он, разгибая один за другим не по размеру подобранные суставы. — Меня зовут Поляновский, Теодор Федорович. Слышали?

Он не сомневался, что я слышал. Я не слышал. В чем и признался.

— А вот я о вас слышал, — выговорил он с некоторой обидой. — Родригес сказал мне, что вы лучший разведчик в шахте, что вы знаете ее как свои пять пальцев. И что вам сейчас нечего делать, правильно?

— Начальнику лучше знать, — сказал я.

— Теперь, когда я вас увидел, я тоже в этом не сомневаюсь, — объявил Теодор голосом экзаменатора. — И я на вас надеюсь.

Я повернулся к Родригесу и изобразил на лице пол-

ное недоумение. Этот Теодор мне не понравился. И вообще у меня была свободная неделя, я намеревался съездить в горы.

— Вы слышите, — сказал Теодор, уткнув в меня могучий нос, которому было тесно на слишком узком лице. — Я на вас надеюсь. Вы моя последняя надежда. Родригес почему-то не желает пускать меня в шахту одного.

— Еще чего не хватало, — сказал я. — Вы оттуда живой не выберетесь.

— Я вас предупреждаю, — заявил тогда Теодор, — что все равно пойду в шахту. Хоть один. И если я там погибну, вся ответственность, я имею в виду моральную ответственность, ляжет на вас.

Он извлек из кармана громадную ладонь, отогнул массивный указательный палец, чтобы ткнуть им в Родригеса. И в меня.

— Простите, профессор, — сказал Родригес с несвойственным ему пиететом. — Если бы заранее знать о вашем приезде, мы бы предупредили, что ни в коем случае не даем согласия на спуск в такое время года. Прилетайте к нам через три месяца. Все будет нормально.

— Мне нечего здесь делать через три месяца, и вы об этом знаете, — сказал Теодор. — Мне нужно побывать в шахте сегодня или завтра.

— Но ведь вода же пойдет! — воскликнул я. Мне стало жалко Родригеса. Он ни в чем не виноват. И позвал меня, чтобы кто-то мог подтвердить, что в шахту спускаться невозможно.

— Я успею, — возразил Теодор. — Я бывал в куда худших переделках. Вы не представляете. И всегда возвращался. Я же на работе.

— Мы все на работе, — сказал я. Родригес переби-

рал на столе какие-то бумажки. Борьба с Теодором легла на мои плечи.

— Но если я не пойду в шахту, то не состоится открытие.

— У нас в шахте уже все открытия сделаны.

— Да? Что вы понимаете в энтомологии?

— Ничего.

— Тогда как вы можете утверждать, что все открыто?

Он раскрыл папку, покоившуюся у него под мышкой. Там, между двумя листками прозрачного пластика, лежал, словно великая драгоценность, кусок крыла бабочки. С ладонь, не больше. Он был глубокого синего цвета, но я-то знал, что стоит повернуть его на несколько градусов — и окажется, что он оранжевый, а если повернуть дальше, то он позеленеет, потом вспыхнет червонным золотом.

— Знаете, что это такое? — спросил Теодор.

Мне не нравился его экзаменаторский тон.

— Знаю, — ответил я. — Почему не знать. Это бабочка, ее называют у нас радужницей. И другими именами.

— Вы ее сами видели?

— Сто раз.

— Что вы о ней знаете?

— Ничего особенного. Живет на деревьях.

— Размер?

— Они высоко летают. Ну, до полуметра в размахе крыльев.

— А сколько крыльев?

— Два, четыре? Не считал.

— Восемь, — сказал Родригес, не отрываясь от бумажек. — И шесть пар ног. Мне один раз ребята принесли. Я хотел сохранить, отвезти домой, но моль съела.

— Вы можете мне поймать хотя бы один экземпляр? — спросил профессор.

— Когда же? Сейчас их нет. Будут деревья, будут и бабочки. Поэтому вам и советуют приехать через три месяца. Налюбуетесь в свое удовольствие. Только волнуют они сильно. Хуже нашатыря.

— Неважно, — отмахнулся Теодор. — Пахнет — не пахнет, какое до этого дело науке, если ни в одной коллекции мира нет целого экземпляра. Если никто не знает жизненного цикла этого существа, если только у меня есть идеи по этому поводу...

— Так зачем же в шахту лезть?

— Послушайте, а вы не задумывались, откуда появляются ваши радужницы?

— Из репы. Откуда же еще?

Мое утверждение ввергло нашего гостя в полную растерянность.

— Вы так думаете? Вы сами догадались или видели?

— Им неоткуда больше братьяся, — сказал я.

— Тогда пошли в шахту. Мы там найдем куколок.

— И что дальше?

— Дальше? Мы будем разводить радужниц на Земле. Вы знаете, что представляет собой материал, из которого сделаны эти крылья? Это же самый красивый, самый прочный, просто невероятный материал!

Родригес извлек из кипы бумаг метеосводку на ближайшие дни.

— Поглядите, — сказал он Поляновскому. — Температура уже поднялась выше нормы. Началось движение соков. Сегодня в полдень уровень солнечной радиации достигнет критического. Вы видите, я пошел вам навстречу, вызвал Ли и, ничего не рассказывая ему, предложил спуститься в шахту. Его мнение совпадает с моим. Так что вопрос закрыт. Завтра вы посмотрите

на появление побегов — зрелище, скажу я вам, исключительное, приезжают операторы, художники. Потом вы поймаете бабочек, и мы в этом вам с удовольствием поможем.

— Сейчас мне нужны не бабочки. Необходимо отыскать ранние стадии метаморфоза. Когда начнется лет бабочек, будет поздно. Неужели вы не понимаете?

— Все понимаю, но в шахту не пушу, — сказал Родригес окончательно. И потянулся к селектору, потому что и в самом деле с минуты на минуту должны появиться гости, их надо было размещать: каждый уверен, что именно он главная фигура на торжестве.

— Космодром? — спросил Родригес. — Второй с Земли еще не прибыл?

— Я попаду в шахту. И не думайте, что сможете меня остановить. Меня пытались останавливать куда более сильные личности, чем вы.

— И как? — спросил Родригес, который тоже относил себя к сильным личностям.

— Ничего не вышло.

Теодор захрустел суставами, развернулся и сделал невероятной длины шаг, вынесший его из комнаты.

— Вы хорошо устроились? — спросил ему вслед Родригес голосом гостеприимного хозяина.

Поляновский ничего не ответил. Родригес повернулся ко мне:

— Ты за ним присмотри. Он и в самом деле может туда полезть.

— У шахты дежурный.

— И все-таки подстрахуй.

Я ушел. Над долиной, голой, серой, скучной до отращения, висела холодная пыль. Во впадинках лежал иней. Приближался вечер. В воздухе была какая-то тревога, напряжение, которые всегда предшествуют взры-

ву весны. Над долиной дул ветер, и пыль вздымалась у куба шахтных подъемников, засыпала подъездные пути и валом скапливалась у кольца сушильной фабрики. В темнеющем небе возникла зеленоватая полоса — сажился корабль. До космодрома двести километров. Мне страшно хотелось туда. Меня тянула сама атмосфера космогородка, где много незнакомых людей, где суматоха и шум, куда сваливаются с неба новости. Я вернулся к Родригесу и предложил ему съездить на космодром за гостями. Все равно кому-то придется гнать туда вездеход.

Вернулся я из космогородка поздно, было почти темно, луны, а их здесь штук тридцать, по очереди выкатывались из-за горизонта и неслись по небу. Я прошел к шахте, посмотреть, все ли в порядке. На вершине холма, у будущего ствола, я нашел ребят из первой смены. Они окружили бугор и спорили, пойдет ли завтра росток. Бугор подрос за день, был уже с меня ростом. Я сказал, что завтра росток еще не пойдет, и мне поверили, потому что я здесь уже пять сезонов и хожу в ветеранах. Теодора я за вечер нигде не видел и, по правде сказать, забыл о нем. И я пошел спать.

Росток меня мало интересовал. Я видел это уже пять раз. В конце концов даже самое восхитительное зрелище, ради которого люди пролетают полгалактики, может надоесть. Для них это чудо — для меня работа. Я начал собираться в горы. В горах я знал одну пещеру, где на стенах были чудесные кристаллы изумруда. Я хотел привезти другу Люцине. До гор добираться полдня, да еще по пещере идти день, не меньше.

Я улегся спать часа в два ночи. А еще через час меня разбудил Родригес и спросил, когда я видел Теодора Поляновского.

— Его нет в комнате. И нигде на территории нет.

— Потыкается в шахте, вернется, — сказал я. — Там Ахундов. Не пустит.

— И все-таки...

В общем, я оделся и, проклиная энтомологию, пошел к подъемнику, чтобы узнать, не видел ли Ахундов, дежуривший в тот вечер, Теодора.

Ахундов Теодора не видел. По простой причине. Ахундов был исключен. Видно, Теодор подошел к нему сзади, приложил к носу тряпку, пропитанную наркотиком, и Ахундов заснул. Вины мы сами. Привыкли, что здесь всякая живность появляется лишь летом, и пока росток не пойдет, опасаться нам нечего, да и кто по доброй воле полезет в шахту? Ахундов сидел перед входом, любовался звездами и никак не подозревал, что на него совершат такое покушение.

Пришлось вызвать Родригеса и доктора, чтобы привести Ахундова в чувство.

И тогда Родригес сказал:

— Просто не представляю, что теперь делать, — и посмотрел на меня.

— А какая последняя сводка? Может, он сам выберется?

— Сводка никуда не годится. Да и сам слышишь. Не первый сезон здесь.

Я и сам слышал, как из-под земли шел гул. Шахта набирала силу, началось движение соков.

— Тогда я пойду, — сказал я.

— Кого с тобой послать? — спросил Родригес.

— Никого. Одному проще.

— А то я с тобой пойду.

— У тебя опыта нет. К тому же, пока будем тебя готовить, опоздаем. А у меня все готово. Я с утра в горы собирался, в пещеру, мне только скафандр натянуть, и я пошел.

— Ты уж извини, Ли, — сказал Родригес.

— Я сам виноват, — сказал я. — Ты просил за ним присмотреть.

Дверь подъемника была взломана чисто. Я бы так не смог.

Я проверил скафандр, взял запасной баллон и маску для Теодора, веревки, ножи, ледоруб. Родригес хлопнул меня по шлему. До рассвета оставалось часа два, и мы надеялись, что вода не пойдет, хотя уверенности в этом не было. Родригес с Ахундовым остались наверху на связи. Доктор пошел разбудить Сингха и позвать его сюда на всякий случай со вторым скафандром.

Я вошел в подъемник, и Родригес помахал мне, показывая, чтобы я не задерживался. Задерживаться мне самому не хотелось. Мне еще не приходилось попадать в шахту, когда идет вода.

Странно было спускаться одному — всегда спускаешься со сменой. Стены главного ствола поблескивали под лучом шлемового прожектора. Содержание сока в породе было больше нормы. Приторный запах наполнил шахту, привычный, не очень приятный запах, которым мы все, кажется, пропитаны навечно. Даже сквозь гудение подъемника слышны были вздохи, шуршания, словно за стенами шевелились живые существа, требуя, чтобы их выпустили на волю.

Внизу, в центральном зале, я постоял с минуту, рассуждая, куда этот Теодор мог направиться. Туннель, ведущий к западу, вряд ли мог соблазнить энтомолога. Уж очень он был обжит, исхожен и широк. Я не знал, есть ли у него хотя бы фонарь. Вернее всего есть. Он кажется человеком предусмотрительным.

Со стен стекала вода, и пол центрального зала был покрыт водой сантиметров на пять. Я опустил забрало шлема и включил связь.

— Как у тебя дела? — спросил Родригес.

— Много воды, — пробурчал я.

Большой плоскотел вывалился из стены и поспешил к подъемнику, словно хотел спастись с его помощью. Плоскотел громко шлепал по воде, и я погрозил ему ледорубом, чтобы он вел себя попристойнее.

— Куда дальше пойдешь? — спросил Родригес.

— По новому стволу. Он идет вниз, а, наверно, твой энтомолог рассудит, что так он быстрее проберется в дебри шахты. Его же куда поглубже понесет.

— И поближе к центру, — сказал Родригес. — Он вчера мне устроил большой допрос, я ему сдуру показал планы. Он не скрывал, что хочет искать своих куколок в главных сосудах.

— Еще чего не хватало, — сказал я с чувством. — Там же потоп.

Тем временем я шел по новому стволу, спускаясь и скользя по сладкой массе породы, иногда переходя на неразобранные звенья транспортера.

— Родригес, это какая бригада здесь оставила метров пятьдесят транспортера?

— Я знаю, — сказал Родригес. — Они меня пытались убедить, что здесь периферия и нет смысла таскать туда-сюда тяжести. Я им разрешил. В порядке эксперимента.

— После такого эксперимента придется везти с Земли новый транспортер.

— Ладно уж, — оправдывался начальник, — нельзя не рисковать.

— Им просто лень было выволакивать оборудование. Вот и весь эксперимент.

Я был в прескверном настроении, Родригес это понимал и на мое ворчание больше не реагировал.

Мне мешала идти всякая живность. Зимой обитатели шахты спят или тихонечко роют свои ходы в породе. А сейчас... Некоторые из них были весьма злобного

нрава и устрашающего вида. В скафандре они мне неопасны, но ведь Теодор пошел практически голым. Вроде бы смертельно опасных зверей у нас в шахте не водилось — в прошлом году приезжали биологи, резали их, смотрели. Но как сейчас помню — Ахундов наступил на одну суничку, неделю лежал — нога как бревно.

Штрек повернул налево, пошел вниз. Этот штрек был разведочным. Он вел к большой полости почти в центре месторождения. Полость была естественная, мы думали, как бы ее использовать, но неподалеку проходили главные сосуды, и мы оставили полость как есть, чтобы не повредить месторождение.

Я шел штреком, по забралу шлема стекала вода, и приходилось все время вытирать ее, чтобы не загустила. Прожектор был ненадежен — множество бликов слепило и мешало смотреть вперед.

Я вдруг подумал: «Что за глупость, зачем мы называем вещи не своими именами? Ведь когда пришли сюда первые разведчики, они называли вещи проще. Месторождение — репой, к примеру. Это уж мы, промысловики, наклеили на репу официальную кличку: месторождение».

3

Когда мне предложили сюда поехать, я сначала воспринял эту шахту как настоящую. Когда мне объяснили, отказался наотрез. А потом меня взяло любопытство, и я все-таки поехал. И не жалею. Ко всему привыкаешь. Работа как работа. И сама планета мне нравится — сплошное белое пятно. Хотя, конечно, шахта главное здесь чудо. Я, помню, как-то пытался объяснить Люцине, что это все означает:

— Представь себе, милая, планету, на которой вре-

мена года меняются в два с лишним раза чаще, чем у нас. Недалеко от экватора на ней обширная равнина, окруженная горами. Климат там жутко континентальный. Зимой ни капли влаги. И морозы градусов до ста. Что, ты думаешь, делают там растения зимой?

Люцина морщила свой прекрасный лоб:

— Наверно, они сбрасывают листья.

— Это не помогло бы.

— Знаю, — заявила Люцина. Ей так хотелось быть умницей. — Не подсказывай. Они засыхают и прячут семена в землю.

— Усложняем задачу. Лето короткое, меньше месяца. За это время растение должно завершить цикл развития, дать новые семена...

— Знаю, — перебила Люцина. — Они очень быстро растут.

— Теперь я сведу воедино все твои теории и даже дополню их. Итак, представь себе очень большое растение. Такое, чтобы корнями оно могло достать до воды, которая находится здесь глубоко под землей. Эти корни не только насосы, которые качают воду к стеблю, но и кладовая, где хранятся питательные вещества. Получается репа. Только диаметром в полкилометра.

— В полкилометра! — воскликнула Люцина и развела руками, чтобы представить себе, как это много.

— Теперь, — продолжал я, — растение может спокойно отмирать на зиму. Основная его часть живет сотни лет, только под землей. И как только наступает весна, оно дает новые побеги, и репа кормит и поит их. А наша шахта — внутри репы. И мы роем свои ходы в ней, как черви. Но мы разумные черви, потому что стараемся не нарушать главные сосуды, по которым поступает влага к растению. Года через три переходим к другому растению. В долине их сотни, хотя и

находятся друг от друга они на расстоянии нескольких километров. Есть репы молоденькие, они с трехэтажный дом, есть и репы-старожилы, одну нашли диаметром больше километра.

— Ф-ф, как черви, — наморщила носик Люцина.

— Когда наступает лето, в долину спускаются хищники, а летом они выбирают на поверхность. Для них репа лишь зимнее убежище. Есть у нас там, например, бабочки удивительной красоты, крылья у них до полуметра. Мы их зовем радужницами.

— Хочу такую бабочку, — сразу сказала Люцина.

— Постараюсь достать, — пообещал я. — Но для нас главное не бабочки, а наша продукция. Это плотная, богатая сахаром, витаминами и белками масса, которую тут же консервируют или сушат. Мы кормим всю планету и соседние базы, мы даже на Земле репу выводим. Она идет и на нужды парфюмерии, она нужна медикам — ты, наверное, читала...

— Конечно, — поспешила ответить прекрасная Люцина. И я ей не поверил,

4

И вот я шел по узкому штреку именно в тот день, когда в шахту спускаться нельзя. Началась весна. Через день, а может, раньше сосуды репы начнут качать наверх воду и соки. В такой период шахта закрывается, из нее вывозят оборудование, и, пока не прекратится рост побегов, у нас отпуск. Обычно он длится недели две-три. А этот сумасшедший энтомолог, вместо того, чтобы подождать месяц, бросился сюда один, без скафандра, в поисках каких-то куколок.

Оказалось, я иду правильно. Я сообщил Родригесу.

— Хуан, тут лежит вскрытая торопыга. Он здесь проходил.

Торопыга была страшенькой на вид, такие нам часто встречались, мы к ним привыкли, из их тяжелых, сверкающих жвал ребята делали ножи и другие сувениры. Я сам привез как-то Люцине такой нож. Она его тут же выкинула, как узнала, что это жвалы какой-то гусеницы.

Уйти он далеко не мог. Я был в башмаках, которые не очень скользили по липкому полу, я знал, куда идти, наконец, я не искал ничего, кроме Теодора, и не исследовал гусениц по дороге.

Идти становилось все труднее. С потолка падали капли, каждая наполнила бы стакан сладким соком, под ногами хлюпало. Стены штрека прогибались под напором воды. Репя гудела, радуясь весне. И где-то в этой липкой бездне бродил Теодор, причем с каждой минутой его спасение становилось все более проблематичным.

Навстречу мне ползли и бежали личинки, плоскотелы, манги, торопыги, сунички — все те жители репы, что летом не выходят наружу, отсиживаются внутри, на бесплатной кормежке. Беженцы шли сплошным потоком, стремясь уйти подальше от центрального ствола. Они-то уж знали, когда им следует удирать. Я раздвигал их башмаками. Большая черно-оранжевая леопардовая манга подняла голову и удивленно поглядела мне вслед, подумав, видно: вот дурак, куда идет? Оттуда наш брат подземный житель живым не возвращается.

Я рассчитывал отыскать Теодора в полости, но нашел там лишь следы его недавнего пребывания. Одной из стен он нанес несколько порезов ножом, словно что-то выковыривал из нее. Затем он, видно, продвинулся

к дыре. Вот этого делать не следовало. Я сразу сообщил об этом Родригесу:

— Дело плохо, он отправился дальше.

— Ого, — сказал Родригес и замолчал. Я понимал, почему он молчит. Долг начальника велел ему тут же вызвать меня обратно. Но и этого он сделать не мог — это означало погубить Теодора.

Дыра вела в один из питательных сосудов репы. Это были вертикальные туннели, по которым и поступала вода к ростку. Мне приходилось туда лазить в хороший, сухой период, и то эти колодцы, в которых всегда сыро и жарко, не вызывали желания в них возвращаться. Мы тщательно наносили их на план шахты, чтобы не выйти к ним штреком. Внизу, в глубине, покачивалась вода. Здесь терпеливо ждали своего времени выползти на свет миллионы всяческих тварей. Они роились в черной воде в таком количестве, что вода казалась живой. И это было в сухое время. Что там творится сейчас, мне и думать не хотелось. Но Родригес молчал, а это значило, что мне все-таки придется туда идти.

— Решай сам, — сказал он. — Скафандр у тебя надежный.

«Ну и негодяй», — подумал я о своем начальнике. Это во мне бушевала трусость. И ничего я с ней поделать не мог. Только я был уверен, что Люцине об этом ничего не расскажу.

И я пошел к дыре.

Я сунул голову внутрь. Учтите, что я был в скафандре, спасательном скафандре, которому почти ничего не страшно. Теодор же отправился в это путешествие в простом комбинезоне. Вода подошла уже к самому краю отверстия. До нее оставалось метров десять, не больше. Ствол, метров шесть в поперечнике, был заполнен таким количеством живности, что мне захотелось зажму-

риться. Эти твари кишели в воде, покрывали в несколько слоев стену, копошились, праздновали свое скорое освобождение. Здесь все было живое, ползущее, жующее, а на той стороне ствола, метров на пять ниже отверстия, прижавшись к стене, висел на ледорубе покрытый насекомыми мой Теодор.

— Вы живы? — удивился я, осветив чудака фонарем.

— А, это вы, — ответил он буднично. — Я скоро упаду. Вы не могли бы мне помочь?

Помочь? Помочь ему было невозможно, о чем я сообщил Родригесу, после чего загнал первый крюк в плотную ткань репы и вылез в ствол. Меня тут же облепили его обитатели, хотя, к счастью, приняли за своего и враждебности не проявляли, но уступать мне сидячие места на стенках туннеля не намеревались.

— Держитесь! — крикнул я Теодору, и тут же мне пришлось опустить забрало шлема, потому что какая-то игривая суничка решила со мной подружиться и пожить немножко у меня на щеке.

Потом помню, как, расталкивая «зрителей», я загнал еще один крюк. На третьем я кинул взгляд вниз и увидел, что вода подобралась уже к ногам Теодора. Ему, хоть он и был самоотверженным исследователем, стало не по себе. Воды-то как таковой видно не было, это был компот из живности. Теодор попытался подтянуть ноги, грохнулся и тут же пропал в этом месиве.

— Я пошел! — почему-то сообщил я Родригесу и, зажмурившись, с отвращением нырнул вслед за Поляновским.

Я поймал его, попытался обнять, чтобы вытащить его голову на поверхность, и в тот момент случилось самое ужасное: начался Ток. Репа взревела, включив все свои насосы, и вода пошла, набирая скорость, вверх. Дальнейшее я как-то запаматовал...

В это время наверху занялся рассвет. А так как многие в космограде знали, что наша репа одна из самых крупных, вокруг нее собралось человек сто, с нетерпением ожидавших, когда первый луч солнца выглянет из-за горизонта. Все знали, что это будет сегодня.

И вот, как только рассвело, громадный бугор, усыпанный сухими ветками и слоем мертвых листьев, начал медленно вспучиваться — это было грозное и неодолимое движение жизни, словно богатырь, проспавший под землей сто лет, решил выглянуть наружу и посмотреть, что делают тут незваные лилипуты. А те отодвинулись подальше от холма и включили камеры. Родригеса среди них не было, Родригес сидел у пульта управления подъемником и слушал, как рычит вода в венах репы.

Через несколько минут раздался грохот рвущейся земли, и, разбросав на несколько метров сучья и листву, комья породы и камни, из земли появился первый росток. Не появился, а вырвался, как меч, прорвавший занавес. Мы всегда говорим — «росток», и можно подумать, что он невелик. А росток — это зеленый палец диаметром чуть меньше тридцати метров. И растет он со скоростью три метра в секунду. Вот для чего требуется столько воды, соков и питательных веществ, чтобы его родить на свет. Через минуту это уже был не росток, а пук раскрывающихся листьев высотой в полторы сотни метров. И такие ростки, поменьше, побольше, более раскидистые и менее раскидистые, вылезали по всей долине, и, словно по мановению жезла могучего волшебника, эта бесплодная, серая земля превращалась в пышный, ярко-зеленый лес... И тут же первые жители этого леса, прорвавшиеся наверх вместе с ростком, начали обживать свои дома, жрать листву, охо-

титься на себе подобных, пить нектар раскрывающихся цветов и сверкать крыльями под солнцем.

И вот тогда наступил решающий момент этого скачкового спектакля. По крайней мере, так рассказывали об этом очевидцы. Как раз в той стороне могучего зеленого ствола дерева, которая была обращена к зрителям, было очевидное и значительное вздутие, словно растение собиралось пустить в ту сторону мощный побег, да почему-то этого не сделало. И вдруг у всех на глазах в зеленой массе что-то блеснуло. Никто сначала и не догадался, что это лезвие ножа. Когда отверстие стало достаточно большим, в краях его обнаружились две руки, и они начали раздирать зеленую кору. Зрелище, говорят, было мистическим, ужасным и навевало мысли о злых духах, рвущихся на волю из заточения. Наконец в отверстии, из которого хлынул прозрачный сок, показался человек в скафандре, вымазанный соком и зеленой массой. Человек вывалился наружу на молодую травку и вытащил за собой еще одного человека, лишённого сознания, бесчувственного и посиневшего от удушья. Только тогда зрители почувляли неладное и побежали к нам.

У меня еще хватило сил откинуть забрало и потребовать, чтобы Теодору достали врача, потому что мне обидно было бы сознавать, что после столь увлекательного путешествия по жилам репы он помрет. Меня поняли и Теодора откачали.

Говорят, когда он пришел в себя — я этого не видел, потому что умудрился прийти в себя позже, — он первым делом спросил: «Как мои куколки?» Окружающие решили, что он спятил, но Теодор нашарил руками застежку на груди, открыл карман, и оттуда одна за другой, расправляя крылышки, вылетели пять бабочек-радужниц, которые теперь, когда на них пошла на Земле мода, известны под названием полянок, и на-

званы они по имени Теодора Поляновского, преданного науке энтомолога. А мое имя так в энтомологии ничем и не прославилось.

6

Разумеется, Люцине я эту историю излагал вдесятеро короче, иначе она не дослушала бы и сочла меня занудой и завистником. Впрочем, краткость меня не спасла.

— А он настоящий мужчина, — сказала она задумчиво. Она смотрела сквозь меня, через время и через миллиарды километров — туда, где негибимый Теодор пробирался сквозь сладкую репу.

— Опомнись, что ты говоришь! — возмутился я. — Полянку тебе привез я. И Теодора из шахты тоже вытащил я.

— Ты... ты... всюду ты, — в голосе Люции звучала скука. — Я хотела бы с ним познакомиться.

— Зачем?

— Тебе не понять.

Лучше бы я привез ей другу изумрудов,



Коля Широнин застрял в двери вагона, и рыбаки, которые боялись, что поезд тронется, толкали его в спину и негодовали. Коля прижимал мотор к груди, и тот все время норовил свалить его вперед. Рюкзак тянул назад и уравнишивал. Это еще можно было вытерпеть, если бы не сложенная тележка, наподобие тех, с которыми бабушки ходят по магазинам, но поболь-

ше, усовершенствованная. Тележка висела через плечо, клонила Широнина влево и всюду застревала.

Когда Коля оказался наконец на крупном речном песке, устилавшем площадку перед бревенчатым зданием станции, он долго стоял, пошатываясь и стараясь восстановить равновесие. Вокруг летали по воздуху палатки, байдарки, рюкзаки, и спиннинги, метались люди в ватниках, брезентовых куртках и резиновых сапогах. Поезд стоит в Скатине минуту, а из каждого вагона хочется выйти человек по двадцать, не меньше.

Отдышавшись, Коля разложил тележку и привязал к ней мотор и рюкзак. Поезд уполз дальше, как будто отодвинулся театральный занавес. Вместо зеленых вагонов обнаружилось пологое, стекающее к Волге поле, живописно уставленное купами деревьев, деревнями с разложенными между ними коричневыми и салатными одеялами весенних полей. Рыбаки и туристы спешили туда, за железнодорожный путь, к базе «Рыболов-спортсмен», к воде и далекому лесу. Коля не без труда приподнял ручку тележки и поволок тележку за собой в другую сторону, вдоль полотна, к железнодорожному мосту, у которого надо было свернуть в лес, по берегу речки Хлопушки, к деревне Городище.

Дорога была неровной, она прерывалась широкими грязевыми преградами, посреди которых текли к Хлопушке мутные ручьи. Тележка завязала на каждой переправе, Широнин, вытащив ее на сухое место, присаживался отдохнуть, а мимо пролетали на мотоциклах местные ребята. По Хлопушке наперегонки с мотоциклами спешили моторки, и Широнин на слух определял, какие на них моторы и что в моторах не в порядке. На моторках стояли большей частью «Ветерки», реже на «казанках» ревели «Вихри». Речка была самым верным и легким путем от станции к деревням, стоявшим

по Хлопушке, но у бабушки нет моторки, к тому же она не знает, когда приедет Коля.

Широнин тянул тележку, как древний раб камень на строительство пирамиды Хеопса, и старался думать о посторонних вещах — например, почему дорога становится все уже, чем дальше отходит от станции, хотя от нее нет никаких ответвлений, или почему вода не хочет стекать вниз, к реке, а хлюпает под ногами. Или что скажет бабушка, когда он приедет. Она его ждет, но сделает вид, что страшно поражена, и по поводу такой радости она может помереть спокойно. Бабушке было семьдесят шесть лет три года назад. В прошлом году тоже семьдесят шесть...

Потом Широнину попалась мелкая на вид, но предательская лужа, похожая на океанскую впадину Тускарору, тележка завалилась на бок, и мотор чуть не упал в воду. Пришлось пожертвовать собой и залезть в грязь чуть ли не по пояс. Тогда Коля дал себе торжественную клятву, что, как только дотащит мотор до дома, тут же испытает его, запрет в сарай и никогда в жизни сюда не вернется. Хватит. Он пытался выжать брюки, и бурая жижа потекла на ботинки. Разумный человек, думал Широнин, не покупает мотор неизвестной марки и не мчится сломя голову к воде.

На другом берегу Хлопушки была деревня Городище. Коля спустился к самой реке и крикнул. С того берега никто не откликнулся, хотя там какие-то люди красили лодку, а под большой ольхой у бани дремали рыбаки. Но в конце концов Колю узнал по голосу Сергей и перевез на своей лодке. По дороге Сергей успел рассказать, что ему в Калининне сделали новый протез, Глушечки продали свой дом, а Клава-бригадирша купила щенка охотничьей породы. Еще он спросил Колю, как его успехи в учебе и правда ли, он отличник, первый в школе. Коля понял, что эти порочащие

его слухи распространяет в деревне бабушка, и ответил, что успехами не блещет, а учиться ему осталось еще год и два месяца.

Бабушка уже ждала на берегу и при виде Коли замахала руками и сказала со слезами, что не надеялась дожить до такого счастливого дня, а теперь умрет спокойно. Сергей помог донести до дома мотор и спросил, какой он марки, и Коля ответил, что «Бурун».

— Не пойдет он у тебя, — неожиданно сказал Сергей, хотя вряд ли мог слышать о моторе, потому что тот только что появился в продаже.

— Почему? — удивился Коля.

— А у Тимохиных вчера один из Москвы приехал с таким же. Ругается сильно. Нюркин сын тоже хотел ехать покупать, а я его отговорил.

Коля даже немного расстроился: он рассчитывал что никто, кроме него, не слышал о таком моторе.

Бабушка слушала их разговор и печалилась, потому что в этой деревне мотор был как до революции лошадь. Хороший у тебя мотор, тебя уважают. А если барахло купил, значит, ты не особо умный.

— Мотор интересный, — сказал Коля специально, чтобы успокоить бабушку. — Если хотите, потом проспект покажу. Гарантия сорок пять сил при весе в двадцать килограммов. Бензина берет меньше, чем «Ветерок».

— Не пойдет, — сказал Сергей, закуривая.

— Ты чепуху не молоти, — строго сказала бабушка. — Тебе все одно, что мотор, что камень. Все равно потопишь.

Этим бабушка намекала на то, что Сергей еще в прошлом году, возвращаясь со свадьбы, потопил в Волге свой мотор.

Бабушка стала верным союзником мотора «Бурун-45». Вечером она достала очки и прочла весь про-

спект. Иногда она прерывала чтение, держа пальцем строчку, чтобы не потерять, и задавала посторонние вопросы.

— Деньги отец дал? — спрашивала она.

— У меня еще с зимы были, — отвечал Коля, разбирая мотор и снимая заводскую смазку. — И еще я велосипед продал. И отец, конечно, помог.

— Правильно, — говорила бабушка минут через пять. — Дело стоящее. Ты надолго?

— Завтра вечером уеду. В школу же надо.

— Правильно, — говорила бабушка и снова начала шевелить губами, разбирая сложные слова.

— Данные у него прямо фантастические, — сказал Широ́нин. Мотор лежал посреди комнаты на газетах, и его заводские чужие запахи потеснили мирные и теплые запахи бабушкиного дома. — Но модель экспериментальная. Придется повозиться.

— Возись, — ответила бабушка. — Мы все, Широ́нины, упрямые. А это что?

Она достала из проспекта несколько листов.

— Заводские анкеты, — сказал Коля. — Через месяц я должен послать отчет, как их детище трудится. А через полгода еще один отчет. И список неисправностей. Они и сами будут узнавать. Адрес взяли, телефон.

— Значит, сами себе не доверяют, — сказала бабушка. — А денег много взяли?

— Сто восемьдесят. Недорого.

— Значит, по справедливости решили. А гарантия есть?

— Гарантия — год. Можно деньги назад получить.

На следующее утро Коля перетащил мотор к лодке. Он решил сначала укрепить у лодки транец. От соседнего дома спустился человек в джинсах, вытирая руки тряпкой.

— У вас, говорят, тоже «Бурун»? — спросил человек.

— А вы, наверно, турист из Москвы? — сказал Коля.

— Да, — вздохнул человек в джинсах и поправил очки толстым коротким пальцем. — Новости здесь распространяются мгновенно. Нам с вами не повезло.

— Почему? Не ладится с мотором?

— Не то слово, — сказал турист из Москвы. — Это сплошной ужас.

Затем турист уселся на бревно и молча наблюдал, как Коля обтесывал доску, прибивал ее к лодке, устал навливал мотор и подливал в бак масло. Коле очень хотелось, чтобы у него мотор завелся сразу и этим он уязвил бы москвича. Ему казалось, что москвич смотрит на него снисходительно, как на мальчишку. Укрепив мотор, Коля сел в лодку, оттолкнулся веслом от берега. Лодку мягко качнуло. Сверху спешила бабушка.

Мотор завелся сразу. Москвич даже привстал от удивления. Коля не спешил. Он дал мотору хорошенько покрутиться на холостых оборотах. Он слушал, как стучит мотор, и звук ему не нравился. Но Коля не подавал виду, что беспокоится. И только он хотел переключить его на скорость, как мотор заглох.

Коля долго дергал за шнур, даже рука онемела, но мотор больше не издал ни звука. Москвич крикнул: «Я же предупреждал!» — и довольный ушел, а бабушка стояла у воды и переживала.

Когда вечером зашел Сергей, чтобы поговорить о политике, он увидел, что Коля сидит на полу, а вокруг него разложены части мотора. Широнин был неразговорчив. Пока что он понял одно — то, что мотор вначале завелся, было чистым чудом. С мотором было что-то принципиально неладно.

В Москву Коля уехал с последним поездом, хорошо еще, что Сергей подкинул до моста на моторке. Коля жалел, что не собрал мотор и не взял с собой. Отвез бы в магазин, получил обратно деньги, и дело с концом.

В опустевшем рюкзаке лежал только карбюратор. Коля уже знал, что, раз он не отказался от мотора сразу, теперь он его добьет, он заставит его подчиниться, даже если придется приезжать сюда каждую субботу и потратить на это половину каникул.

В следующую субботу Коля и в самом деле вернулся в деревню. Когда он, приладив верстак на подоконнике, распиливал отверстия под болты, которые к этим отверстиям не подходили, хотя должны были подходить, вошел москвич. Он вел себя как старый приятель, как товарищ по несчастью.

— Это какой-то конструкторский урод, — сказал он. — Его делали сумасшедшие. Вы со мной согласны?

Бабушка громко вздохнула. Широнин вздыхать не стал, он ломал себе голову, как тот сумасшедший добирался вон до той шпонки? Может, у него был пинцет длиной в пятнадцать сантиметров с крючком на конце?

— Туда я залезть не сумел, — сказал москвич, дыша Коле в ухо. — Это выше человеческих сил.

Москвич сидел до самого обеда, и наконец бабушка сказала:

— Что-то вы все на чужой смотрите. Свой-то небось заржавеет.

— Пускай ржавеет, — сказал москвич. — Отвезу назад. А вы?

— Нет, — сказал Широнин. Он придумал, как снять ту шпонку.

В следующую субботу Коля в деревню не приехал. Он сидел в библиотеке. Война с мотором приняла ожесточенный характер. В тот момент, когда казалось, что Коля прорвал очередную линию обороны мотора, мотор успевал построить новые доты, и обе стороны вновь переходили к позиционной войне. Пришлось всерьез заняться теорией. Коля набрал десятка два книг, мама переживала, что он нахватает двоек в последней четверти,

а отец старался помочь, но толку было мало — он все забыл, чему его учили в институте, а его умение руководить другими Коле не требовалось. В школе Широнин задал физику два вопроса, на которые тот не смог ответить, зато напомнил, что на носу годовая контрольная. В общем, жить было трудно, но Коля не намеревался отступать перед куском мертвого металла.

Когда он через две недели вновь добрался до деревни, лужи почти просохли, и через ручьи можно было перешагивать, не замочив подошв. Лес стал зеленым и непрозрачным. Москвича не было, Сергей сказал, что он собрал свой мотор и увез в Москву. Широнин вывалил из рюкзака книги и несколько выточенных им деталей и повел на мотор еще одну атаку. Бабушка уже привыкла к тому, что Коля приезжает регулярно, и перестала говорить о смерти, а старалась приспособить Колю по хозяйству, и он, чтобы не воевать на два фронта, вскопал гряды и починил забор.

Москвич появился в деревне к вечеру.

— Вы знаете, молодой человек, — сказал он, — они даже не стали спорить. Предложили мне на выбор либо «Вихрь» с доплатой, либо деньги. Я доплатил. И вам советую.

— Спасибо, — сказал Широнин.

— Знаете что, — сказал москвич, — вы же варите суп из топора.

— Мне отступать некуда, — сказал Коля, оглядывая комнату, заваленную книгами, чертежами и металлическими деталями.

Экзамены Коля сдал и отказался от поездки в альплагерь, куда все собирались еще с зимы. К этому времени мотор сопротивлялся из последних сил. Москвич проводил дни на Волге, куда его каждое утро уносил обыкновенный и безотказный «Вихрь». Сергей купил себе «Стрелу», а когда Коля шел по деревне,

с ним здоровались с усмешками и шутили, что он строит самолет.

В конце июня из Москвы приехали Валюжанин и Таня с Эммой. Коля вспомнил о том, что приглашал их к себе, в самый последний момент, а то бы им пришлось топать до деревни пешком. Коля выпросил моторку у Сергея и встретил ребят на платформе.

— Ой, какой ты загорелый, словно кубинец, — сказала Эмма.

— Тебе идет жить в деревне, — сказала Таня.

Они привезли с собой кастрюлю мяса для шашлыка, всякую зелень для приправы и московские новости: кто куда поехал или собирается поехать. Коля познакомил их с бабушкой и показал разобранный мотор, который не произвел на ребят особенного впечатления; потому что Валюжанин типичный гуманитарий и будет поступать на филфак, а девочки интересовались мотором только как средством передвижения и предпочитали ахать при виде бабушкиных овечек или какого-нибудь цветка. Коле было даже странно, что такие обычные вещи вызывают у них восторг, его мысли все время возвращались к мотору, и, хотя он старался не показывать этого ребятам, Эмма спросила его:

— Тебе с нами скучно? Неинтересно?

А это надо было понимать: «Ты относишься ко мне не так, как зимой?»

— Ты ошибаешься, — сказал Коля.

Потом Коля отвез ребят на остров, они отыскивали место между туристскими палатками, жарили шашлыки, купались и пели песни, и, может быть, даже хорошо, что Коля отвлекся, потому что, когда он стоял на платформе и махал рукой вслед поезду, увозившему гостей, он вдруг догадался, как зафиксировать переключатель реверса.

— А эта, черненькая, — сказала бабушка, когда Коля вернулся домой, — она приятная, воспитанная.

Бабушка ждала ответа, чтобы углубиться в тему, всегда интересующую бабушек, но Коля буркнул что-то и достал инструменты. Если сделать миллиметровый пропилил...

Коля Широнин завершил борьбу с мотором 12 июля. В который раз он укрепил его на транце. Бабушка даже не вышла к берегу. Коля поглядел на тропинку от дома к воде, протоптанную за эти недели. Потом оттолкнулся от берега веслом и подождал, пока его отнесет подальше от вымахавшего в человеческий рост тростника.

Широнин завел мотор и, когда тот прогрелся, включил скорость — лодка послушно осела кормой в воду. Лодка глиссировала, поднимая облако водяной пыли, мотор гудел тихо, уверенно и солидно, как мотор легкового автомобиля, железнодорожный мост приближался, словно его притягивали канатом, в ушах ревел ветер, и моторка Гаврилова, которую он обогнал, казалось, стояла на месте.

— Ну вот, — сказал Коля мотору, — один-ноль в нашу пользу.

Он не испытывал торжества. И вообще ему все надоело. Другие ходят по горам и загорают, а он провел каникулы в виде кустаря-одиночки. Бабушка сначала не поверила, а потом сказала:

— Мы, Широнины, ужасно какие упрямые.

Когда Коля уже вернулся в Москву, неожиданно раздался телефонный звонок.

— Тебя, — сказала мама подозрительно. — Очень милый женский голос.

Очень милый женский голос сказал:

— Это Широнин, Николай Викторович?

— Я, — сказал Коля.

— Вас беспокоят из магазина, в котором вы приобрели мотор «Бурун-45». Мы не имеем от вас никаких сведений. Скажите, довольны ли вы работой мотора?

— Еще как, — мрачно сказал Коля. — Большое спасибо за внимание.

Он повесил трубку. Все ясно, они получили столько жалоб, что теперь весь завод отдают под суд за головотяпство. Так им и надо. Можно представить, как злятся на завод продавцы в магазине. Сколько им всего пришлось выслушать.

И тут же телефон зазвонил снова.

— Простите, — сказал все тот же женский голос. — Нас разъединили. Вы уверены, что ваш мотор работает?

— Да, — ответил Коля, решив не жалеть бракоделов. — Но только потому, что я в нем живого винта не оставил. Можете смело отдавать бракоделов под суд.

Женщина хихикнула и сказала:

— Большое спасибо.

Через три минуты позвонил взволнованный бас и попросил разрешения взглянуть на мотор товарища Н. Широнина.

— Вы тоже из магазина? — удивился Широнин.

— Нет, — ответил бас.

— С завода?

— Можете считать, что с завода.

— Тогда учтите, — сказал Широнин твердо. — Моего мотора вы не увидите. Вас все равно будут судить. И мне вас не жалко.

— Но я очень прошу, — сказал бас.

— Да мой мотор на Волге! — воскликнул Коля. — Что же, мне тащиться три часа на поезде, чтобы доставить вам удовольствие?

— Коля! — крикнула мама из комнаты. — Как ты разговариваешь?

— Зачем на поезде? — сказал бас. — Вы только скажите нам адрес и разрешите от вашего имени его осмотреть. Если же у вас есть свободное время, то можете полететь с нами на вертолете.

— Что? На вертолете? А вы меня не разыгрываете?

— Зачем нам это делать?

— Коля, ужинать, — сказала мама. — Ты совершенно распустился за лето.

— Деревня Городище, — сказал Коля, — Калининской области...

Он вдруг поверил, что тот бас не шутит, что у них и в самом деле так плохо все обернулось, что не жалко денег на специальный вертолет, чтобы отыскать действующий мотор «Бурун-45». Пусть смотрят.

— Вот, — сказал он маме не без гордости. — От моего мотора зависит судьба целого завода.

— Завтра они медаль тебе дадут, — сказала мама, которую серьезно беспокоило, что Коля стал таким грубым.

Назавтра они пришли к Широным. Без медали, но пришли. Солидный толстяк в больших очках и еще один, непонятного возраста, весь встрепанный.

— Мы хотели бы видеть Николая Викторовича, — сказал солидный толстяк.

Отец, который открыл дверь, не понял и поправил их:

— Виктора Степановича.

— Нет, — сказал солидный толстяк. — Николая Викторовича. Вы приобретали мотор «Бурун-45»?

— Коля, — позвал отец.

Коля стоял за дверью и все слышал. Он сразу вышел в коридор.

— Николай Викторович? — спросил солидный толстяк, никак не удивившись.

— Я. И я покупал мотор «Бурун». А вы со мной вчера говорили по телефону.

— Правильно, — сказал толстяк и повернулся к востроумному. — Что же будем делать?

Востроумный склонил голову набок и подмигнул Коле. Потом спросил:

— Тебе никто не помогал?

— В чем? С мотором? Нет. Я бы никого и не подпустил — там голову сломишь.

— И правильно сделал, — сказал толстяк. — Поехали с нами.

— Простите, — сказал отец. — Я не совсем понимаю...

— Нам хотелось бы, — сказал солидный толстяк, — чтобы ваш сын побывал на нашем экспериментальном производстве.

Коля чуть не сказал вслух: «Им моя консультация нужна», но удержался, чтобы не показаться хвастуном.

Мама из кухни сказала будничным тоном:

— Простите, что я к вам не вышла, я лук режу. Только чтобы к ужину быть дома.

— Постараемся, — сказал востроумный отцу. — Спасибо за содействие, — хотя неясно было, в чем заключалось содействие отца.

Внизу ждала «Волга», толстый сел впереди, с шофером, а второй устроился на заднем сиденье рядом с Колей. Коля выглянул в окно, ему захотелось, чтобы совершенно случайно мимо дома прошла Эмма и спросила бы его: «Ты куда, Широнин? Завтра же сочинение». А он ответил бы небрежно: «Надо заехать на один завод, вот за мной машину прислали». Ну, разумеется, если бы Коля шел с авоськой в магазин за молоком, он встретил бы двадцать знакомых. А когда за тобой присылают «Волгу», то все как будто сквозь землю проваливаются.

— Слушай, Коля, — сказал востроумный, — а чем

тебе не понравился наш фирменный конденсатор? Ты зачем радиотехнические поставил?

Коля вернулся с небес на землю. «Много еще во мне мальчишества, — подумал он с некоторым осуждением. — С тобой разговаривают как с серьезным человеком, а ты думаешь неизвестно о чем».

— А вам ваши фирменные конденсаторы нравятся? — спросил Коля у встрепанного, сделав ударение на слове «фирменные». — Тоже мне, фирма.

Встрепанный хихикнул, а толстяк обернулся с переднего сиденья и спросил:

— Широнин, я хотел задать вопрос, хорошая ли у вас успеваемость в школе?

Вопрос к делу не относился и Коле не понравился.

— Успеваемость как успеваемость, а что?

— Имеет прямое отношение, — сказал толстяк. — Надеюсь, вы не вводите меня в заблуждение.

— А зачем вводить?

— Бывают различные варианты, — загадочно сказал толстяк и отвернулся.

Завод располагался в Черемушках, в здании, в котором было много стекла и алюминиевых конструкций. Широнина провели в большую комнату, похожую на холл в санатории. У стены стояли кресла, а посередине — разноцветный ковер.

— Подожди, Коля, — сказал встрепанный. — И познакомься пока.

В креслах сидели еще два человека. У них был скучный вид, как на приеме к зубному врачу. Коля сел рядом с худым лохматым мужчиной, до самых глаз заросшим черной бородой.

— Широнин, — сказал он.

— Туманян, — ответил бородач, — вы тоже насчет мотора?

— И что он им сдался? — ответил третий человек,

совсем пожилой, лет сорока, не меньше, в модном костюме и галстук-«бабочке». — И так ухлопал на него весь отпуск.

И тут в комнату вошли востроухий, толстяк и незнакомый старик в синем халате.

— Здравствуйте, — сказал старик высоким голосом. — Я рад вас видеть. И надеюсь, что мы достигнем взаимопонимания. — Потом он обернулся к толстяку и спросил потише, показывая глазами на Колю: — А это Широнин?

— Да, — ответил толстяк, будто Широнин был виноват во всех страшных грехах.

— Ну-ну, — сказал старик весело и уселся в кресло.

— Я, — продолжал старик, — то есть академик Беккер, Сергей Петрович и мой друг профессор Столяров, — он указал на востроухого, — пригласили вас сюда потому, что именно мы изобрели мотор «Бурун-45».

Академик сделал паузу и поглядел на гостей, словно ждал, что они накинутся на него с проклятиями. Но гости молчали и ничего не понимали.

— Вопросов нет? — спросил Беккер. — Отлично. Вы все выдержанные и упрямые люди. Итак, я повторяю, что мы изобрели мотор-сказку, мотор застрашного дня. И по договоренности с торговыми организациями пустили его в продажу. Мы продали восемнадцать тысяч шестьсот дешевых моторов «Бурун». Так вот, на сегодняшний день в магазины возвращено восемнадцать тысяч пятьсот девяносто шесть моторов. Один мотор утоплен с горя его хозяином. Три мотора приведены владельцами в порядок и отлично работают. О чем это говорит?

Ответа не последовало.

— А говорит это о том, что мотор мы изобрели никуда не годный. Потенциально — это замечательная машина. На практике довести его до рабочего состояния

невозможно. И чтобы не было случайностей, об этом позаботился весь наш институт. Я не шучу: мотор запустить нельзя, хоть он и лучший из существующих сегодня лодочных подвесных моторов.

— Теперь я ничего не понимаю, — сознался Туманян.

— А мы понимаем. Мы понимаем, что среди тысяч людей, большая часть которых любит технику и обладает смелостью, чтобы купить совершенно незнакомую марку мотора, нашлось три человека, которые настолько нелогично устроены и упорны, что не согласились с логикой и привели моторы в отличное состояние.

— Так зачем? — решился спросить Коля.

— Я отвечу. Только сначала объясню, почему мы выбрали для нашего эксперимента именно лодочный мотор. Могли бы сделать автомобильный. Но ведь если бы мы снабдили такими уродцами, скажем, партию «Запорожцев», их владельцы отправились бы в мастерские, а оттуда моторы тут же вернулись бы к нам. Владельцы лодочных моторов занимаются своим делом вдали от городов, в свободное время, в одиночестве. Они знают, что их моторы капризны и требуют личного, гуманного отношения. Водники привыкли полагаться на себя, потому что, если мотор заглохнет в десяти километрах от населенного пункта, мало шансов, что мимо проедет добрый умелец и все за них сделает. Именно поэтому лодочный мотор — идеальный полигон для отыскания и испытания технических талантов. Наш эксперимент удался. Он стоил государству очень дорого, но надеюсь, что вы окупите наши расходы.

— А я думал, вас судить будут, — сказал Туманян.

— Так что же дальше? — спросил Коля.

— Дальше что? С Туманяном и Песковским, — академик кивнул в сторону пожилого франта, — все ясно. С сегодняшнего дня они зачисляются в наш институт.

Мы начинаем работать над новым универсальным двигателем, который, к сожалению, изобрести невозможно. Все вы прошли испытания на моторе «Бурун» и выдержали его.

— Но как же... — начал Туманян.

— Все согласовано, — ответил академик. — Даже ваша жена согласна. Что касается Песковского...

— А что обо мне говорить, — улыбнулся пожилой франт. — Я всю жизнь мечтал заняться невозможным делом.

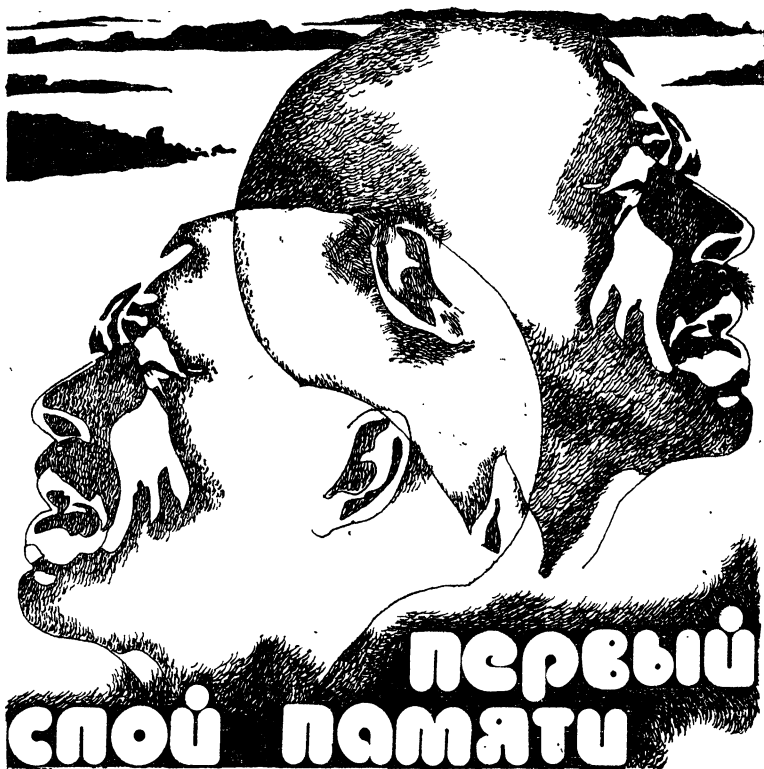
— Труднее всего с Колей Широниным, — сказал солидный толстяк, который оказался заместителем академика по хозяйственной части. — У него впереди десятый класс.

— А он не виноват, что моложе нас всех, — запротестовал профессор Столяров. — Он будет учиться и работать. Ведь Широнины упрямые.

Коля догадался, что Столяров ездил в Городище и услышал эти слова от бабушки.

— Уж наверно, это будет не труднее, чем чинить «Бурун», — сказал Коля.

— Гарантирую, что труднее, — серьезно ответил академик.



В среде самоубийц принято оставлять записки: «В смерти моей прошу никого не винить», так вот: в моих несчастьях прошу винить телефон. Он мой враг, я его раб. Более решительный человек на моем месте обязательно оборвал бы шнур или разбил аппарат. Я не могу. Телефон вне моей юрисдикции. Если бы каждый, вместо того чтобы носить свой крест, рубил его

на дрова, некому было бы становиться мучениками. Когда человеку что-то от меня нужно, он добирается до меня посредством телефона. Еще бы, если бы он отправился ко мне пешком или воспользовался городским транспортом, он трижды подумал бы, прежде чем решиться на такое. Если у вас есть телефон, вы меня поймете. А если нет, вы меня не поймете, потому что обиваете пороги в телефонном узле, доказывая, что по роду службы вам телефон необходим, как горный воздух. Кстати, я и сам обивал пороги, но самое страшное — если бы телефон у меня сняли, начал бы обивать пороги вновь. Как видите, я предельно откровенен.

Я еле добрел до дома. Был жаркий, обманчивый весенний день, который обязательно должен был обернуться к ночи чуть ли не морозом. Так и случилось. Если учесть, что отопление уже было выключено, то ясно, почему я, забравшись в постель и зачитавшись полученной на два дня Агатой Кристи, с таким негодованием воспринял телефонный звонок, раздавшийся в половине двенадцатого. Я дал ему отзвонить раз десять, надеясь, что ему надоест и он поверит, что меня нет дома. Но телефон не поверил. Я снял трубку и, ежась от холода, прорычал в него какое-то слово, которое можно было трактовать как угодно.

— Гиви, — сказал телефон голосом Давида. — Я тебя не разбудил?

— Разбудил, — не отрицал я.

— Я так и думал, — продолжал Давид, не зная, что в таких случаях следует извиняться. — Так вот, сейчас за тобой заедет наша машина. Шеф уже в институте.

— Очень тронут, — признался я. — А что делает наш дорогой шеф в институте в двенадцать часов ночи? Несовершеннолетние преступники украли установку и разобрали ее на винтики для детского «Конструктора»?

— Не паясничай, Гиви, — сказал Давид скучным голосом. Он всегда говорит скучным голосом, когда я паясничаю. — Серьезное дело, машина будет у тебя с минуты на минуту. Она заедет за Русико, это ведь недалеко?

— Совсем рядом. Я только вчера провожал ее до дому, и, по-моему, ее отец целился в меня с балкона из крупнокалиберного ружья.

Давид повесил трубку, чем показал всю серьезность заявления. Я решил никуда не ехать, но на всякий случай начал одеваться. В этом вся моя непоследовательность, но, наверно, она происходит от того, что я рос без отца. Я принимаю решение и тут же начинаю действовать наоборот.

Я не успел натянуть пиджак, как под окном коротко твякнула машина. По голосу это была директорская машина.

Было холодно, как в феврале высоко в горах. Русико сидела в черной «Волге», она была ненакрашена и полна сознания собственного достоинства. Не каждый день за хирургической сестрой присылают черную «Волгу».

— Русико, — спросил я, усаживаясь с ней рядом, — что там приключилось в институте?

— Не знаю, — ответила Русико таким тоном, как будто она-то знала, а вот еще неизвестно, допущен ли я к такой великой тайне. — Мне позвонили. Мне Давид звонил, — добавила она.

— Какая честь, — сказал я. — И чем ты ее заслужила?

Русико пожала круглыми и, подозреваю, очень белыми плечами.

— А в самом деле, что он тебе сказал? Ведь он не имеет морального и служебного права поднимать с постели молодую и прекрасную женщину.

— Будет операция. Наверно, из-за землетрясения.

— Чего? Какое еще землетрясение?

— Утром было землетрясение, — включился в разговор шофер. — Далеко было, в горах.

— И опять мне ничего не сообщили, — обиделся я. — Наверно, обсуждали, судачили, а когда я вылез из лаборатории, ни единого слова. А ведь я обожаю поговорить о землетрясениях и пожарах. Скажите, а сегодня в Тбилиси не было извержения вулкана?

— У нас здесь нет вулканов, — объяснила мне прекрасная Русико. — Вулканы на Камчатке.

— Спасибо, — сказал я, и тут мы приехали.

Перед институтом было вавилонское столпотворение, как будто дело происходило в конце рабочего дня. Стояли машины, бегали люди, в половине окон горел свет.

— Землетрясение продолжается, — сказал я, вылезая из машины, и, надо признаться, мной овладели всевозможные предчувствия.

Давид и сам Лордкипанидзе стояли посреди холла.

— Всегда на посту, — приветствовал я их, не здороваясь, потому что имел уже честь утром засвидетельствовать свое почтение обоим моим коллегам.

— А вот и Гиви, — сказал Лорд и, обернувшись к Русико, приказал:

— Сейчас же наверх, в операционную, я скоро там буду.

— Простите, — сказал я, — где здесь у вас справочное бюро? Я хотел бы получить информацию о своем ближайшем будущем.

— Разъясните, — бросил Лорд Давиду и понес свое грузное тело на второй этаж.

— Только в двух словах, — предупредил меня Давид, словно моя минимальная норма на объяснения состояла из четырех слов и одной запятой. — Мне позволил Пачулия. Ты его знаешь? Пачулия на «скорой» работает. Ты его не знаешь? Странно.

— Ближе к делу, — сказал я Давиду строгим голосом. — Тебя просили мне все разъяснить, а не выяснять мои личные отношения с Пачулия.

— Да, конечно, правильно, — Давид поковырял ногтем дужку очков. — У них больной, шоковый, неизвестно еще, вытянут они его или нет. А там как раз эпицентр землетрясения. Маленького землетрясения.

Пальцы Давида непроизвольно показали, какие маленькие бывают землетрясения.

— Не может быть, — поразился я. — Таких маленьких не бывает.

— Говорят, в Тбилиси в некоторых районах звенела посуда в шкафах.

— Это от городского транспорта, — постарался я утешить Давида. — А все-таки при чем тут мы? Мы не «Скорая помощь». Мы научно-исследовательский институт, можно сказать, Институт мозга.

— Вот именно. Институт мозга. А Пачулия знал, над чем мы работали. Он в феврале был на конференции в Киеве, где Лорд делал доклад. Вот он и запомнил. Идея, конечно, дикая, малореальная, но от этого зависят жизни других людей.

Тут Давида отвлекли. В вестибюль вбежала очаровательная тоненькая девушка, растрепанная, она бросилась к нам и прошептала:

— Он где? Он жив?

У девушки было такое большое и детское горе, что даже столь закоренелый эгоист и циник, как я, отвернулся и не сказал ни слова. Я вообще в таких случаях ничего не умею говорить. Зато Давид — великий мастер врачебного обхождения.

— Вы, простите, о ком спрашиваете? — спросил он почти нежно.

— О Бесо. О Бесо Гурамишвили.

— Конечно, конечно, — сказал Давид. — Состояние,

прямо скажу, тяжелое, но нет никаких оснований отчаиваться.

— Можно мне к нему? — перебила Давида девушка.

— Нет, сейчас нельзя. Завтра можно будет.

— Но вы меня не обманываете?

— Зачем я буду вас обманывать? Сейчас Бесо спит, и его нельзя беспокоить. Я вам советую завтра с утра сюда приехать и тогда...

— Он разбился? Да? Он в пещере разбился? — Девушка заметила, что Давид, взяв меня под локоть, старается увести наверх, и подбежала к нам.

— Нет, — сказал Давид, — его нашли наверху. На дороге.

— А остальные?

— Их ищут.

— А как же он мог выйти, а они нет?

Давид посмотрел на круглые электрические часы над лестницей и принял кардинальное решение.

— Слушайте. Два часа назад на дороге, в сорока километрах от города, был найден Бесо Гурамишвили. Его нашел шофер грузовика и хотел было отвезти в больницу, в район, он ехал от Тбилиси, но, пока шофер пытался помочь Бесо, появилась машина спасателей. И они узнали Бесо. Они его не трогали, пока не приехала «скорая помощь» из города. Теперь ясно?

Я сказал, что мне ничего не ясно, а девушка хотела было сказать то же самое, но не посмела.

— Что неясно? — удивился Давид.

— Почему спасатели искали Бесо. Он альпинист?

— Нет, он спелеолог. Ты, конечно, не читал. Ты ничего, кроме развлекательной литературы, не читаешь. В прошлом году спелеологи начали прохождение пещеры, всего в сорока километрах отсюда. Об этом писали везде. Это большая экспедиция.

— Восемнадцать человек, — сказала девушка. Она

немного успокоилась. Я представил себе, каково ей было мчаться сюда по ночному городу, когда ее возлюбленный в больнице и неизвестно еще, жив ли он.

— Они в прошлом году начали, шестнадцать километров на карту нанесли. Вы не представляете, как там интересно. Он меня той осенью брал, только до базы. Там такой сталактитовый зал... Алеша!

Оказывается, она увидела рыжего бородатого ребенка в штормовке, из той, довольно скучной породы людей, которым всегда надо залезть в такие места, куда нормальных людей не тянет.

Девушка бросилась к Алеше, словно пустынный к воде. Давид уточнил:

— Спасатель.

— Ну и что дальше? — говорю я. — Где мы появляемся на сцене?

— Бесо — один из спелеологов. Группа работала под землей уже вторую неделю. У них там врач. Есть связь с землей по рации, а наверху контрольная группа. Сегодня днем было землетрясение. В общем, вход в подземелье завалило, связь прервалась, и, что случилось со спелеологами, никому не известно. Представляешь, до самой ночи спасатели пытаются бурить завал, ищут, нет ли других входов в пещеру, и вдруг на дороге, в десяти километрах от основного входа оказывается Бесо Гурамишвили.

— А он ничего не может рассказать.

— Правильно. Он ничего не может рассказать, и есть основания полагать, что привести в сознание его сегодня не удастся. А когда удастся...

— Вход сильно завалило?

— Видно, сильно. Спроси у Алеши. Он привез Бесо. Он его друг.

— Сам спрашивай. Моей помощи там не требуется.

- Наша с тобой помощь может потребоваться.
- Каким образом?
- Установка.
- А как с ее помощью добраться до спелеологов?
- Идем наверх, по дороге ты будешь думать, Гиви.

Может, догадаешься.

Я шел по лестнице. Передо мной покачивалась широкая мягкая спина Давида, и я все не мог придумать, как с помощью нашей установки можно откопать спелеологов. Сразу восемнадцать человек, нет, семнадцать, один из них как-то выкарабкался...

— Слушай, Давид, а не могло так быть, что этот Бесо выбрался наверх до обвала?

— Не могло, — ответил Давид. — Он был в пещере со всеми.

— А может, его как-то выкинуло наверх?

— Не мели чепухи.

— Значит, он выходил потом?

— Потом.

Мы подошли к кабинету Лорда. Лорд был там. Он разговаривал с незнакомым мне мужчиной, на котором белый халат сидел неловко, словно плохо подогнанный маскарадный костюм доктора Айболита.

— Понял, — сказал я. — Значит, Бесо знает, как к ним спуститься, не разбирая завала.

— Ты почти гений, — ответил Давид серьезно. — Эта мысль пришла Пачулия, когда он вез Бесо в Тбилиси на «скорой помощи».

Мы стояли в дверях кабинета Лорда. Лорд нас не замечал.

— Гурамишвили — мастер спорта по альпинизму, — объяснил человек в неловко сидящем халате, обращаясь к Лорду, как будто бы отвечая на мой следующий вопрос. — В первой десятке скалолазов республики. Логично, что, если у них была возможность добраться до

какой-то трудной щели, пошел Бесо. Второго такого среди них не было. А он молчит.

Человек сказал это с осуждением, как будто Бесо молчал назло ему. У него были большие черные усы и рыжие печальные глаза.

— Итак, молодые люди, — обратился к нам Лорд. — Вот, присутствующий здесь товарищ Кикнадзе полагает, что мы можем ему помочь.

— Не мне, — поправил его товарищ Кикнадзе. — Тем, кто ждет помощи.

Лорд фыркнул. Лорд не терпит, когда его поправляют.

— Мы должны узнать, — продолжал Лорд после некоторой паузы, — как найти спелеологов. И очевидно, никто, кроме нас, этого сделать не сможет.

— Никто, профессор, — согласился товарищ Кикнадзе, осознавший свой промах.

Давид спросил Лорда:

— Будем готовить установку?

— Я уже распорядился, — сказал Лорд. — Меня интересует другое — кто будет принимать?

— Я, — сказал Давид.

Лорд посмотрел на него в глубоком сомнении. Я понимал Лорда. Давид — мальчик из хорошей семьи, которого много и вкусно кормили в детстве и не заставляли заниматься спортом. Давид получился мягкий, теплый, округлый, но, на удивление родственников, работающий. Он близорук, из-за чего его возили ко всем окулистам Москвы, Ленинграда и чуть ли не Владивостока. Любой другой на месте Давида возненавидел бы медицину, а он, наоборот, полюбил ее. За муки, что ли?

— Если получится, — сказал Лорд, — то ведь придется туда идти...

И он обратил свой взор ко мне, из-за чего я непроизвольно расправил плечи. Теоретически у меня в роду

все должны были быть долгожителями, но мои дяди и тетушки умудрялись погибать в молодости или максимум в допенсионном возрасте. Они уходили на войну, падали со скал, а один дядя утонул в Атлантическом океане. Мне тоже было суждено погибнуть в молодом возрасте, и никто, кроме меня, в этом не сомневался.

— А ты как, Гиви, об этом думаешь? — спросил меня Лорд.

— Я думаю, что можно приступать, — сказал я.

Давид замурлыкал что-то о своем опыте и готовности... Лорд уже шел к лаборатории.

— Давид, — попытался я его утешить. — Каждому свое, как говорили греки.

— Римляне, — поправил меня образованный Давид.

— Каждому свое, — повторил я. — Кто-то должен работать головой, а кто-то бегать ножками.

Я люблю нашу установку, наверно, потому, что за эту любовь мне платят зарплату и иногда дают премии. И еще потому, что понимаю в ней куда меньше Лорда и даже меньше Давида. Хотя никто не понимает ее целиком. Она настоящая женщина: непредсказуема и капризна. Она может одарить тебя потрясающими данными, а затем обидеться на что-то и отказаться с тобой сотрудничать. Она занимает половину второго этажа и подвал, куда уходят инженеры, относящиеся к нам, медикам, как к людям второго сорта, годным лишь на то, чтобы губить их изобретения. Инженеры сделали установку, мы разработали методику ее применения, и все друг другом взаимно неудовлетворены. Хотя в этом есть определенная доля кокетства.

Операционную лабораторию недавно отремонтировали и облицевали голубой плиткой. С тех пор операционная казалась мне похожей на ванную комнату в гостинице, особенно если ломался кондиционер. А кондиционеры, как известно, ломаются только в самую жару.

Не покрыта плиткой была лишь правая от двери стена, которую занимала контрольная панель и пульт управления.

Я заглянул в операционную через стеклянную дверь. Русико готовила инструменты. В желтом халате она выглядит эффектно. Когда Русико подняла голову и улыбнулась мне, я изобразил на лице восхищение ее неотразимой красотой, но боюсь, что она снова меня не поняла...

Я пошел бриться. Я уже смирился с тем, что раз в неделю мне приходится брить голову, и утешаю себя тем, что после этого похож на Маяковского. Мои знакомые полагают, что бритье — мое чудачество, способ побороть интеллектуальную неполноценность. Большинство моих знакомых интеллигенты, и поэтому они ни черта не понимают в жизни.

Я брился и вспоминал, как мы в первый раз два с лишним года назад включили установку. Руслан и рыжая собачка из цирка, не помню, как ее звали, лежали привязанные к столам в этой самой операционной. Только операционная тогда была белая, крашеная масляной краской, потолок протекал, и на нем были красивые разводы. Про разводы я узнал позже, когда сам попал на один из столов. Я ввел иглу в мозг Руслана, Нателла фиксировала датчики. Лорд волновался и потому был с нами резок и рычал на Русико. Давид и инженеры суетились у пульта, и, хотя через десять минут главный инженер сказал: «Пошла запись», мы ни в чем не были уверены.

Когда собаки проснулись, мы следили за ними, как ревнивцы за женами, а собаки лакали молоко, жрали мясо, и Руслан смотрел на дрессировщика пустыми глазами. А мы ведь специально выбрали цирковую собаку, потому что она многое в жизни испытала и умела куда больше, чем обычный пес Руслан. Дресси-

ровщик ворчал. Он не верил, что можно записать память, записать и передать Руслану все то, что знает его рыжая собачка. Мы и сами сомневались, и это было самое паршивое, потому что на это дело было ухлопано несколько лет и масса денег, и все эти годы многие серьезные люди считали Лорда шарлатаном, его друзей-инженеров шарлатанами, а нас с Давидом и прочую мелочь даже не шарлатанами, а просто идиотами.

К вечеру того же дня, когда скептически настроенный дрессировщик вновь приступил к Руслану со своими приставаниями, наш драгоценный пес изобразил на морде профессиональное отвращение, прошелся на задних лапах, сделал сальто и неловко прыгнул сквозь затянутое папиросной бумагой кольцо. Рыжая собачка смотрела на него во все глаза и подсказывала на собачьем языке, что делать дальше. Руслану противно было заниматься делами, недостойными честного крупногабаритного пса, но он занимался, потому что в его памяти уже лежали знания, полученные им от рыжей собачки. Через два дня он обо всем забыл и вернулся к обычной непритязательной жизни.

Дрессировщик, не поверив, что собаку можно в пять минут научить всему, что его подопечные впитывали в себя месяцами изнурительного труда, забрав свою бритую собаку, рассчитался в бухгалтерии и остался нами недоволен. А мы устроили большой пир на даче Лорда и нескромно прославляли друг друга в тостах и речах. А еще через три месяца я впервые попал на операционный стол в качестве подопытного кролика и с тех пор хожу обритый наголо и стараюсь никому не показывать шрамов над правым ухом.

Все это не значит, что мы с тех пор катились к славе по рельсам. Мы плелись к ней, проваливаясь в волчьи ямы, блуждая по горным тропинкам, и регулярно возвращались к началу пути, охваченные удручающей

мыслью о том, что никогда из этого лабиринта не выберемся. Мы работали с самыми умными собаками в Грузии, а они почему-то передавали своим преемникам лишь обрывки глупых воспоминаний или манеру кушаться исподтишка. Мы лелеяли макак и мартышек, которые никак не могли получить от информантов элементарные навыки кидать кожурой банана в нелюбимого зрителя. Мы, наконец, жертвовали собой, и я два дня подряд мучился застарелым раскаянием Давида, который, оказывается, в семилетнем возрасте украл запонку у дедушки Ираклия и в ужасе от содеянного запустил ее в Куру. Это преступление не было раскрыто, но Давид все равно мучился.

У меня голова разламывалась от его раскаяний. Его больше всего заботило, чтобы я не вводил в дневник эксперимента имени дорогого дедушки.

Цельной картины у нас не получилось, передача была ненадежной, и хотя принято говорить, что отрицательный результат — тот же результат, у нас их накопилось столько, что хватило бы на полное отрицание всех достижений Ньютона, Эйнштейна и Нильса Бора, вместе взятых.

— Гиви, ты готов? — спросила Нателла. — Больного уже привезли.

— Я как пионер, — ответил я, — всегда готов. Ты была когда-нибудь пионеркой?

— Гиви, — Нателла посмотрела на меня с укором. Ей хотелось, чтобы я был такой же серьезный и талантливый, как Лорд, чтобы я был альтруистом. Она с женской недалекостью не понимала, что, выполнив все ее условия, я потерял бы для нее всяческую привлекательность. Чтобы отвлечь Нателлу, я сообщил ей:

— Лорд разговаривал с директором, а знаешь, что сказал директор? Он умыл руки. Он отлично понимает, что надо крепить связи науки с производством, а если

у нас ничего не выйдет, всегда можно раскритиковать Лорда за то, что тот пытается навязать производству недостроенную сноповязалку.

Я последовал за Нателлой в операционную. В коридоре нам встретился товарищ Кикнадзе, который уже обжился здесь и выглядел орлом.

— Желаю успеха, — сказал он мне. — Вам еще никогда не приходилось проводить более ответственной операции.

— Большое спасибо, — поблагодарил я вежливо. — Как хорошо, что вы мне об этом сказали.

Кикнадзе стоял и думал, обидеться ему на меня или нет.

— Зачем ты так разговариваешь с людьми, Гиви? — задала мне Нателла очередной риторический вопрос. Она большой мастер риторических вопросов. — Ты не представляешь, как он переживает. А там еще родственники спелеологов, и все от него чего-нибудь требуют.

— Но я ничего от него не требовал. Меня можно было оставить в покое. Ты же знаешь, что перед приемом надо расслабиться и пребывать в спокойном состоянии духа.

— Я тебя подготовлю, — сказала Нателла.

— Не надо. Меня будет готовить Давид. Не лишай его этого удовольствия. Если же ты этим займешься, то я не смогу настроиться на прием. Я буду думать только о тебе. Кстати, ты не хотела бы стать моим информантом? Я потом тебе достану парик.

— Ни в коем случае, — сказала Нателла. — И не из-за волос.

— Ты боишься, что я узнаю о твоём настоящем отношении ко мне?

— Да, боюсь.

— Ты мне льстишь.

— Наоборот.

Когда я, благоухающий йодом, появился в операционной, там уже все было готово. Я подошел к столу, на котором лежал Бесо Гурамишвили. Наш анестезиолог проводил военный совет с седовласым и заслуженным коллегой из Института хирургии. Я им не завидовал. Даже мне было ясно, что они поддерживают в Бесо жизнь из последних сил. Бесо мне понравился. Его обрили, и он стал похож на меня. Или на Маяковского. Только молодого.

Я кивнул Пачулия, который привез Бесо к нам. Пачулия был хорошим хирургом. Я был с ним знаком, хотя и не признался Давиду. Мы учились с Пачулия на одном курсе, но он был отличником, а я нет. И этот Пачулия проводил со мной воспитательные беседы.

— Ты готов, Гиви? — спросил Лорд отеческим голосом, как будто собирался пригласить меня в парк или в кафе-мороженое.

Я постарался расслабиться и занялся самовнушением. Сначала расслабил мышцы лба, потом представил, что расслабляю мышцы глаз.

Я лежал на столе и, если повернуть голову, мог увидеть острый темный профиль Бесо. Анестезиологи пришли к какому-то решению, и молоденькая кардиологичка из нашего института была допущена в их высокое совещание. Я попытался представить себе, каково там, в пещере, наверное, очень темно и страшно.

— Надеюсь, Бесо никогда не крал запонок у дедушки Ираклия, — сказал я Давиду, и это были мои последние слова, потому что они дали мне наркоз, чего я также не выношу.

Наверно, моей последней мыслью было рассуждение о том, что анестезиологи меня надолго отключать не будут, потому что я пришел в себя именно с этой мыслью в голове. Однако, кто я такой и почему меня не надо надолго отключать, я догадался не сразу.

А догадавшись, заснул, потому что испугался, что они будут задавать мне вопросы, а ответить мне нечего. Плохо, когда от тебя чего-то ждут, а ты помочь не можешь. Это отлично знают все, кому доводилось проваливаться на экзаменах. Мне доводилось.

Сквозь сон мне были слышны их голоса, и мне казалось, что я все понимаю и даже в любой момент могу непринужденно включиться в беседу. И не включаюсь по собственному желанию.

Снова проснулся я в палате. Было темно. За стеклянной матовой дверью горел свет, и по стеклу, как в театре теней, проплывали человеческие силуэты.

Как всегда, болела голова, и меня мучило чувство разочарования в себе и еще больше вина перед Лордом, который на меня так рассчитывал, а я его подвел.

Я поднял руку, чтобы посмотреть на часы, но, конечно, никаких часов на мне не было. За дверью зашелетели голоса. Слух у меня был обостренный, и я различил чей-то низкий голос, наверно Лорда:

— По нашим данным, обычно проходит два-три часа, прежде чем начинается приживание информации.

Дверь открылась, и на цыпочках вошла Нателла. Я закрыл глаза, мне не хотелось с ними разговаривать. Нателла что-то делала на столике у койки, звякнул стакан. Она вышла. Сказала там, в коридоре:

— Спит еще.

— Кофе готов, — услышался голос Русико.

Я почувствовал благодарность к Русико, которая догадалась, чем можно их всех отвлечь от двери. Они, видно, тоже обрадовались, и мелькание теней на стекле прекратилось.

Мне надо было что-то вспомнить. Я что-то забыл. Что-то важное. Я представил себе Бесо, лежащего на соседнем столе, и подумал, что никогда еще не видел себя со стороны. То есть не себя, а *его*. Я чего-то не

сделал, что обязательно должен был сделать, хотя эта обязательность относилась не ко мне, а к Бесо, и меня беспокоило, не потерял ли я ЭТО. Где-то в глубине сознания я оставался самим собой и понимал, что во мне просыпаются мысли Бесо, и рад был тому, что они существуют, но в то же время не только для Бесо, но и для меня важнее было вспомнить об ЭТОМ. «О пещере?» — удалось мне спросить самого себя. Нет, не о пещере. Я понимал, что ЭТО важнее сейчас, чем пещера, и я ничего не знаю о пещере. Я не могу вспомнить о ней, потому что никогда в ней не был, близко не подходил. А ЭТО должно было лежать в кармане джинсов.

Тут уж пришлось думать мне самому, без помощи Бесо, мысли которого мне только мешали, тревожили и подгоняли. Бесо не знал, где могут быть джинсы. Он ничего не знал об институте. Это знал только я.

За дверью тихо. Прошло лишь несколько минут, и они сейчас пьют кофе и рассуждают, получилась передача памяти или нет. Но их интересует путь в пещеру, о котором я ничего не знаю. Их ЭТО не интересует, ЭТО важно лишь мне. Мне и кому еще? ЭТО важно Резо, потому что я дал слово...

Когда Бесо привезли в институт, его раздели, а одежду отправили на первый этаж, в кладовую. Следовательно, мне нужно пойти в кладовую и взять там джинсы.

Вот теперь Гиви должен взять верх над Бесо и нажать на кнопку звонка. Прибежит Нателла, придет Лорд, и я им расскажу о джинсах и о том, что надо взять оттуда. Но почему-то я этого сделать не мог. Почему-то я должен был этим заняться сам. Так думал Бесо, который сейчас, в лучшем случае, лежит без сознания за стеной.

Я должен сам пойти в кладовую, но выходить через

дверь опасно, потому что в любой момент может вернуться Нателла. Придется спускаться со второго этажа, это неразумно, и даже при моей склонности к необдуманным поступкам я должен был взять себя в руки и вспомнить о том, что я в первую очередь ученый и только во вторую — запасной склад для воспоминаний Бесо.

Я сел на кровати и с минуту старался унять тошноту и головокружение. Ах, как трогательно! Родовое привидение увлекает наследника шотландского замка в загадочные болота. Надо, Гиви, надо. Я обнаружил, что мой наряд ограничивается трусами. Друзья забыли меня облачить хотя бы в больничную пижаму.

Я подошел к окну и раскрыл его. Как и положено в авантюрном романе, окно раскрылось со скрипом, способным разбудить тени предков в фамильном склепе. Черная клумба находилась далеко внизу. Может, они ошиблись и положили меня не на втором этаже, а на десятом? Я стоял в нерешительности. В окно проникал жгучий холод. Наверно, с луны, которая освещала вершины деревьев.

И вдруг я пропал. Пропали мои слова, мои настроения и даже мое чувство юмора. Мне надо было как можно скорее взять ЭТО и сделать то, что мне положено было сделать. В коридоре послышались шаги. Мне показалось, что Нателла, почувствовав неладное, спешит к палате. Я перекинул ноги через подоконник и встал на карниз. Потом оттолкнулся от стены и прыгнул. Земля ударила меня по ногам, я не удержал равновесия, упал на бок, ушибся, измарался в земле, но не ощутил боли — только раздражение от того, что так неудачно прыгнул. Бесо прыгнул бы лучше.

Я сидел на клумбе и прислушивался, не в мою ли палату вошли. Если это Нателла, то сейчас начнется паника, и до кладовой мне не добратся. Но все было

тихо. Я поднялся, стряхнул с колен землю и пошел вдоль стены к служебной двери.

Луна светила мне в спину, и на фоне белой стены я выделялся, как жук на листе бумаги. Вот и окно кладовой. Оно забрано решеткой и для непосвященного недоступно. Но я еще вчера слышал сетования кладовщицы на ненадежность замка и знал, что институтский слесарь намеревался снять замок и поставить новый. Зная нашего слесаря, я мог надеяться, что он, как человек обязательный, замок снял, а вот новый поставил вряд ли.

Я вошел в служебную дверь и тут обнаружил, что продрог до костей. С полминуты стоял, вдыхая теплый воздух неосвещенного коридора, потом нащупал дверь в кладовую и толкнул ее. Дверь послушно открылась. Мой психологический этюд об институтском слесаре оправдался. Я зажег свет, полагая, что сегодня ночью в институте не до грабителей. Одежда Бесо лежала на столе. Когда его привезли, кладовщицы не было, одежду просто сложили здесь. Я не удивился тому, что с первого взгляда узнал вещи Бесо, удивительнее было бы, если бы я их не помнил.

Я замерз и не хотел, чтобы меня здесь застали в обнаженном виде. Я натянул влажные джинсы, которые оказались почти впору, надел майку и выдавший виды свитер. Все это было грязным, на рукаве свитера запеклась кровь. Я отыскал под столом башмаки Бесо, но они оказались мне малы. Это оказалось неожиданным осложнением, которого мы с Бесо никак не ожидали. Я открыл шкаф. Там были вещи больных из лечебного отделения. Я выбрал пару ботинок. Ботинки были блестящие, лаковые, они никак не вязались с остальным моим нарядом, но не жали, а это было главным. Из кармана джинсов я извлек пластиковый пакет с газетным кульком внутри.

«Резо протянул мне пакет. Лицо его в свете последнего нашего фонаря казалось еще более изможденным, чем обычно. Фонарь светил сверху, и глаза казались черными ямами. «Ты мне обещаешь?» — спросил Резо. «Обещаю», — сказал я».

Эта картинка промелькнула у меня в сознании четко, словно я сам видел этого неизвестного мне Резо. Я стоял в нерешительности.

«Дальше что? — мысленно спросил я Бесо. — Может, вернемся? Они вот-вот хватятся».

И тут же я понял, куда мне надо ехать. Именно надо ехать, и немедленно. В деревню Мокви. Туда идет автобус. От автобусной станции. Я взял со стола свои часы. Часы Бесо. Часы еще шли. Было двадцать минут пятого. После операции не прошло и трех часов.

Больше задерживаться было нельзя. Я потушил свет и вышел из кладовой. Городской транспорт еще спит и видит сны. Но до автобусной станции сравнительно недалеко. И может быть, удастся поймать такси. Это было бы идеально. Я по возможности быстро пересек газон, отделявший институт от ворот. Чем дальше я буду от него в ближайшие минуты, тем лучше для меня, для Бесо и для кого еще?

«Ты узнаешь его дом. Он последний на улице. Весь в диком винограде. А перед ним розы. Ни у кого в деревне больше нет роз».

Это говорил Резо. Его голос.

Я перебежал газон и вошел в полуоткрытые ворота. В институте была сумасшедшая ночь, и потому все правила были забыты. Где сейчас ночной сторож?

Близко шуршала Кура. Залаяла собака. Ей откликнулись собаки, заточенные в подвале института. Мне показалось, что со стороны института раздался крик. Меня зовут? Я пошел по шоссе к городу. Я бы бежал, но снова подступила тошнота и в голове шумело.

Я обернулся. Зеленый огонек такси выскочил из-за поворота. Выйдя на середину дороги, я поднял руку. Машина затормозила.

— Разве не видишь, что в парк еду? — спросил таксист, высовываясь из окна. — Никуда я тебя не повезу.

— Мне только до автобусной станции.

— Не по дороге, — сказал таксист.

— Сколько? — спросил я, норовя попасть в тон таксисту.

— У тебя таких денег нету, чтобы я к автобусной станции поехал.

— У меня срочное дело. Пожалуйста, подвези.

Сторговались на трех рублях. Шофер был вынужден покориться силе денег, но это не сняло его раздражения. Он смотрел прямо перед собой, но ко мне не оборачивался и сердился на меня, потому что был недоволен собственной уступчивостью.

«Камень рванулся из-под ног, и воздух ударил в лицо. Воздух был плотный, и в нем потонул звук обвала. Кто-то вскрикнул. Я упал на пол пещеры и больно ударился о чью-то каску. Я не думал, что мог умереть. Мне только хотелось, чтобы все это скорее кончилось. Тогда я выйду наружу. Но рычание горы не прекращалось, словно порода старалась заполнить все пустоты в горе...»

— Приехали, — сказал таксист. — Теперь мне до парка лишних десять километров ехать. Расплачивайся.

Я замер. Мои руки не знали, в каком кармане лежат деньги. Деньги лежали в пиджаке Гиви, а на мне были джинсы и свитер Бесо. И в них не было денег.

— Я деньги забыл, — ответил я спокойно, потому что уже был на автобусной станции и до Мокви ехать не больше часа.

— Шутишь, — убежденно сказал шофер. — Шутишь. Такое коварство не укладывалось в его сознании.

— Завтра придете ко мне в институт. Десять рублей уплачу.

— Шутишь, — говорил шофер уже более убежденно. — Дорого тебе обойдутся эти шутки. В парк поехали. Там поговорим.

Шофер перегнулся через меня, притягивая дверь к себе.

— Возьмите что-нибудь в залог, — попросил я.

— Что с тебя возьмешь? — сказал шофер, оглядывая меня. — Что с такого возьмешь?

Он был разочарован в человечестве.

— Часы, — вспомнил я. — Возьмите часы.

Я не стал ждать его ответа. Потянул браслет. Передал ему часы.

— Не нужны мне твои часы, — рассердился таксист. Я так и не рассмотрел его лица.

— Хорошие часы, «сейко», — сказал я. Часы принадлежали Бесо, поэтому я знал, что они «сейко».

Это убедило шофера.

— Ладно, — сказал он. — Всякое бывает. Ты только мой номер запомни.

Он сказал номер, но мне было некогда. Какой-то ранний автобус подъехал к зданию вокзала. Я побежал к нему. Над ветровым стеклом автобуса был написан маршрут. Автобус шел в другую сторону. Таксист догнал меня.

— Номер не забудь! — крикнул он.

— Хорошо, — сказал я и поспешил к зданию вокзала.

На вокзале еще царила ночь. Несколько случайных пассажиров, коротая время, дремали на скамейках. Лысый человек в грязном свитере и рваных джинсах (это я) ворвался в зал и начал дико озиаться в поисках расписания. Наконец я углядел доску и бросился к ней. Я сам никогда не ездил в Мокви, но Бесо бывал там,

давно, но бывал. Ближайший автобус в том направлении уходил через полтора часа.

Я стоял перед доской. Последняя моя ценность — часы Бесо уже исчезли. Придется идти на шоссе, ловить попутные грузовики, потому что шоферы грузовиков более отзывчивые люди, чем таксисты. Но до шоссе еще нужно добраться.

Знакомая девушка спала, положив голову на спинку скамейки. Это была та девушка, которая искала Бесо и волновалась за него в институте. Нет, что я говорю! Это была моя сестра Нана. Ее, наверно, выгнали до утра из института, велели раньше восьми там не появляться. А может, она хочет съездить к маме. Мама ничего не знает, от нее, конечно, все скрыли...

Я сделал шаг к Нане, чтобы успокоить ее, сказать, что со мной все в порядке, и замер, испугавшись своего движения.

Нана подняла голову, словно я ее окликнул. Она смотрела на меня в упор, и я испугался, что она узнает свитер и джинсы Бесо. Я сделал шаг назад, а она пыталась понять, откуда ей знакомо мое лицо. Она ведь видела меня так недавно, но в институте я был респектабелен, в костюме, при галстуке. Она еще смотрела на меня, а сзади послышались тяжелые шаги, и я знал, что это ко мне.

Я быстро обернулся, готовый бежать. По залу шел шофер такси. На его толстом указательном пальце болтались часы «сейко».

— Ты куда убежал? — спросил он строго. — Я уже час как работу кончил, а должен за тобой по всему Тбилиси бегать.

Я понял, что Нана сейчас узнает часы, и пошел на встречу таксисту, чтобы загородить его спиной.

— Ты номер не записал, — продолжал таксист. Он был немолод, похож на Лорда, словно был его старшим

братом. У таксиста был крупный пористый нос, тщательно ухоженные усы.

— Пойдем, — сказал я, стараясь оттеснить его от Наны. — На улице поговорим.

Таксист подчинился. Моя беготня по залу разбудила ожидающих, они смотрели на меня с подозрением, словно я заодно собирался утащить их чемоданы.

На улице было зябко. Сверху дул ледяной ветер. Свистер Бесо почти не грел. Я поежился.

— Тебе куда надо? — спросил таксист.

— В Мокви.

— Знаю, — сказал таксист. — У меня там брат жил. До войны еще. Женился и жил. Потом уехал в Телави. А у тебя там любимая девушка?

— Почему?

— Очень переживаешь, — сказал таксист. Он достал пачку сигарет, протянул мне.

— Спасибо, не курю, — сказал я.

— Ты не думай, что я из-за трех рублей на тебя накинулся, — сказал таксист. — Я уже час как отработал. Я обманщиков не люблю. А то, бывает, сядет: денег нет, а сам легенды придумывает.

— У меня деньги в других брюках, — сказал я чистую правду.

Я оглядел площадь, надеясь, что случится чудо — появится автобус с надписью «Мокви» над ветровым стеклом.

— Важное дело у тебя в Мокви? — спросил таксист.

— Вы уже отработали, и денег у меня нету.

— А ты в мои дела не вмешивайся, — сказал таксист. — Я лучше тебя знаю, что мне делать. Садись в машину.

— Что?

— Садись в машину, говорю. Сколько я тебя посреди площади ждать обязан?

Мы выехали из города. Уже светало. В кабине было тепло, уютно, и тянуло в сон. Поливальная машина обдала нас струей воды, и капли скатывались по стеклу.

— Я сумасшедший, да? — спросил шофер.

— Нет. Добрый человек.

— Я не добрый. Я твои часы все равно в залог оставляю.

Загорелся красный свет. Мы стояли на пустынном перекрестке, и свет никак не переключался.

— Сколько времени? — спросил я.

— Все равно часы не отдам, — сказал шофер. — Половина шестого. Опаздываешь?

— Опаздываю.

— А тебе в какой дом в Мокви надо? Я там всех знаю.

Я не ответил. Я забыл, в какой дом мне надо. Я доверился Бесо. А он не хотел подсказать.

«Глаза Резо мне были не видны. Свет падал сверху. Рядом стонал доктор. Надо же было, чтобы именно доктор сломал ногу. Доктор должен лечить других, а не стонать. «Ты сразу узнаешь его дом...»

— Последний дом на улице, — сказал я. — Весь в винограде. И розы. Ни у кого в Мокви больше нет роз.

— Так бы и говорил. Там хромой Багра́т живет. Ты к нему?

— К нему. Он один живет?

— Не знаю. Я там давно не был. Раньше один жил. Сын у него в Тбилиси работает.

«Я обещал отцу, — сказал Резо. — Постараюсь найти. Я сам не верю в это, а он очень верит. Я к нему профессора возил, но профессор сказал, что вряд ли можно помочь. Старый отец у меня. Но он верит, говорит, что старики верили. Знали ход в пещеру. До революции один князь приезжал, тысячу рублей золотом обещал тому, кто принесет, громадные тогда деньги».

Я достал из кармана джинсов пластиковый пакет, вытащил из него газетный сверток. В газете лежали кусочки желтой смолы, похожей на янтарь. На ощупь они были мыльными, легкими и испускали восковой сладковатый запах.

— Что это у тебя? — спросил шофер. — Пчел разводишь?

— Нет. Лекарство, — сказал я.

Шофер нажал на тормоза. Я еле успел подхватить кусочки смолы. Машина въехала на обочину.

— Слушай, — спросил шофер. — Ты это где нашел?

— В пещере.

— Правильно! — обрадовался шофер. — Чего же молчишь? Горный бальзам нашел. От всех болезней лечит?

— Старики верят, — сказал я.

— Ты старому Баграту сын? Чего же раньше молчал?

— Не сын я ему. Сын поручил передать.

— У меня мать умирала, просила меня достать. А где достанешь? Теперь все горы уже известны, а места настоящие забыли. И медицина не верит. Не проверено, говорят.

— Вам нужно? — спросил я.

— Зачем? Я здоровый. А думаешь, поможет? Мне участковый врач тогда сказал, что в старинной медицине был смысл. Ты тоже так думаешь?

— Не знаю, — сказал я. — Очень важно, когда больной верит в лекарство.

— Правильно. Мне от всех болезней аспирин помогает.

Мы снова выбрались на дорогу и километра через два съехали с нее на проселок. Синяя стрелка указывала на вывеске: «Мокви — 4 км».

Старый дом был обвит диким виноградом. За забором нежились в расцветном холодке розовые кусты. Роз

еще не было. Рано быть розам. Щенок, подняв рваное ухо, подбежал к калитке и, виляя хвостом, попрошайничал.

— Спасибо, — сказал я шоферу. — Я запомнил ваш номер, не беспокойтесь. Я завтра вас найду.

— Завтра я не работаю, — сказал шофер, вынимая из кармана часы. — Возьми. С самого начала сказал бы, в чем дело...

— Пускай часы у вас останутся.

— Ты что, думаешь, я тебя за паршивые деньги возил?

Я взял часы.

— Хотите, поделюсь с вами бальзамом?

— Зачем мне. Моя мать уже умерла, а я здоровый.

— Может, пригодится.

— Мне от всех болезней аспирин помогает. Ты спеши, сынок, может, старик Багра́т тебя ждет.

Я толкнул калитку. Щенок вежливо отступил в сторону и побежал передо мной к веранде. Виноградные лозы туннелем перекрывали дорожку, и приходилось нагибаться.

«В полной темноте я услышал голос Теймура: «У кого аварийный фонарь?» В тот момент, когда начался обвал, мы сидели за нашим длинным каменным столом и ждали, когда доктор, была его очередь дежурить, принесет суп. Мы только что умылись в подземном ручье, сложили в углу, возле рации, каски и резиновые костюмы. Мы вымотались, потому что прошли за тот день полкилометра и один коварный и трудный сифон. Мы сидели за длинным столом, и нам было весело, потому что все получалось хорошо и дальше должен был быть еще один зал, и, видно, немаленький. Завтра мы будем искать к нему подходы. И вот тогда начался обвал. В лицо ударил тугой и холодный воздух...»

Я остановился на веранде. В доме было тихо. Отсюда

была видна деревня, убегающая вниз, к реке, стадо, рассыпавшееся по слишком зеленой, молодой траве косогора. Пахло дымом. Речка была закрыта туманом. По улице скрипела арба. Было уже совсем светло.

Маленькая старушка в длинной, до земли, черной юбке и в платке, закрывающем лоб, выглянула из двери. В руке у нее было ведро.

Я поздоровался.

— Ты к Баграту, сынок? — спросила старушка, ничуть не удивившись раннему гостю. — Он уже проснулся.

Баграт оказался могучим старцем. Широкая, старая, с блестящими шарами на спинке кровать была ему тесна. Старик, видно, давно болел. Он иссох, и кожа щек и лба казалась очень темной, особенно по контрасту с белой, желтоватой бородой и длинными прядями белых волос. Голубые глаза старика сохранили чистоту цвета и зоркость. Старик поднял широкую, костистую ладонь, будто вырезанную из старого дерева.

— Что с Резо? — спросил он.

Он смотрел на меня так, будто я стоял далеко-далеко, на склоне горы, будто я был гонцом, от которого нельзя ждать добрых вестей, как их не ждут от посланцев судьбы. И старик заранее был готов вынести еще один удар, на которые так щедро долгая жизнь, но и сдаваться перед судьбой он был не намерен.

— Садись, — сказал он мне раньше, чем я мог ответить.

— Резо жив и здоров, — сказал я.

— Садись, — повторил старик. По-моему, он мне не поверил.

— Резо жив. Передает вам привет и беспокоится о вашем здоровье.

— Когда ты его видел?

— Вчера.

— Утром?

— Днем.

— У меня было плохое предчувствие вчера утром, — сказал старик. — Ты где его видел?

— В пещере. Мы там работаем. В экспедиции.

— Правильно. В пещере. И ты говоришь, что ничего не было?

Врать ему было нельзя.

— Был обвал, — сказал я, — Но мы успели отойти. Все живые.

— А почему сам Резо не пришел?

— Он остался там работать.

— А почему ты так грязен? Что с твоей головой? Ты устал?

Старушка принесла поднос с нарезанным сыром, лепешками и граненым графином, наполненным желтым вином.

— Подвинь сюда стол, — приказал мне старик. — Будем завтракать.

Я сделал, как велел старик.

— Как тебя зовут? — спросил старик, наливая вино в стаканы.

— Гиви, — ответил я.

— Я не знаю Гиви среди друзей моего Резо.

— Я недавно в экспедиции.

— Ты лжешь мне, — сказал старик, не осуждая меня. Просто констатировал печальный факт. Потом добавил: — Врач запретил мне пить вино. Особенно утром. Я не слушаюсь врача.

— Резо просил меня привезти вам горный бальзам. Он не мог приехать сегодня, а мне было по дороге.

Я развернул газету и протянул кусочки смолы старику. Если бы на моем месте был Гиви, он оценил бы патетичность момента. Но ведь я и есть Гиви. Или я Бесо?

— Спасибо, сынок, — сказал старик. Он понюхал комок смолы. — Это настоящий горный бальзам. Резо уже второй год ищет его для меня. Спасибо, что не пожалел времени и привез старику лекарство. Когда тебе много лет и ты знаешь о бессилии врачей, приходится верить в средства, которыми пользовались твои предки. Когда увидишь Резо, передай ему, что отец благодарит его и я постараюсь встать на ноги к его возвращению. А скоро Резо вернется?

Старик мне верил. Но старик был горд.

— Я думаю, что он вернется даже раньше срока. Может быть, через день или два он уже будет здесь.

И тут же я понял, что попался. Нельзя было этого говорить. Старик лучше меня знал, что Резо должен был работать под землей, по крайней мере, еще две недели. Мне следовало раньше обратить внимание на настенный календарь, который висел над головой старика. Месяц апрель был обведен красным карандашом, и дни со второго числа до сегодняшнего дня были перечеркнуты крестиками. Старик считал дни.

И я ему почти все рассказал. Я рассказал, что экспедицию завалило под землей. Что все живы, мы знаем это наверняка, но тот, один человек, который выбрался наверх, болен и не может показать путь к остальным. Он в больнице. Я работаю в той больнице, и он просил отвезти бальзам.

Старик слушал молча, не перебивая. Он закрыл глаза и был неподвижен, даже, казалось, не дышал.

— Я знаю вход, через который они пошли вниз, — сказал он, когда я кончил рассказ. — Много лет назад люди искали горный бальзам, но потом они потеряли дорогу, забыли. А как далеко они прошли в этом году? В каком месте их покинул Бесо?

И я представил себе пещеру так, как она была нанесена на плане у Теймура. Я хорошо помнил план,

обведенные тушью участки, обследованные в прошлом году, карандашные извивы ходов этого года и пунктирные линии будущих разведок.

Обвал застал их на базе, в зале, где стояла рация. Это в четырех километрах от главного входа. Он задел часть зала, там было оборудование. И когда они нашли фонарь и осмотрели завал, то оказалось, что пробиться к выходу не удастся.

— Ты говоришь, что люди не пострадали?

— Доктор сломал руку, и еще одна женщина сильно ушиблась.

— Я всегда говорил Резо, что нельзя брать женщин под землю.

— А остальные отделались легко. И тогда все переместились в соседний зал, а Теймур послал Бесо и еще одного человека искать путь вверх. Им дали фонарь, и они пошли.

— В каком направлении?

Я попытался вспомнить. Я представил себе этот ход, сужающийся до размеров кроличьей норы, когда приходится вжиматься в породу и не знаешь, расширится ли он когда-нибудь или придется ползти назад.

— Он шел на восток.

— И далеко они прошли?

— Нет. Они вернулись за аквалангом. Это...

— Я знаю, что такое акваланг.

— Ход расширился. Там был еще один зал, но выход из него был под водой.

— И дальше Бесо пошел один?

— Да. У них оставался один акваланг, притом они все равно не могли протащить доктора и ту женщину. А Бесо скалолаз. И он худой. И все надеялись на него.

— А что сказал Резо, когда они прощались?

— Резо сказал, чтобы он обязательно нашел вас и

отдал пакет с бальзамом, когда выйдет. Он объяснил, как найти ваш дом.

— Почему ты сказал мне, что тебя зовут Гиви и ты работаешь в больнице? Ты ведь там был? И ты вышел наверх?

— Я клянусь вам, что сказал правду. Бесо лежит в больнице.

— Ты кажешься мне хорошим человеком, но ты все время почему-то обращаешься ко лжи. Если ты Бесо, то почему ты поехал сюда, а не привел людей к тому месту и не показал им путь? Если ты Гиви, то как же Бесо вспомнил, что было под землей, и не сказал, где он вышел наверх?

— Он плохо чувствует себя. Он забыл.

Старик вздохнул. Он устал со мной бороться.

— Если пройти от деревни вверх по ущелью три километра, — сказал он, — там есть щель в земле. Я сам туда не спускался. Но я думаю, что, если идти, как ты сказал, можно приблизиться к людям. Скажи, сколько Бесо шел?

— Его нашли на дороге поздно вечером. Часов в десять.

— Где?

Я сказал где.

— Нет, это далеко от того места, но все-таки можно попробовать. Я пошлю с тобой Георгия. Он ловкий парень и знает те места.

За дверью зашуршали шаги, скрипнули доски веранды. Старик чуть улыбнулся.

— Она уже побежала, — сказал он. — Она слушала за дверью.

«Я вынырнул из ледяного потока. Я боялся, что у меня остановится сердце. Ведь у меня не было резинового костюма, только акваланг. Костюм остался в завале. Я снял акваланг и несколько раз подпрыгнул,

чтобы согреться. Воздух казался теплым после воды, но это была обманчивая теплота. Каково им там, в пещере, без фонаря. Когда я уходил, они пели песню. В четыре голоса. Красиво пели. Ничего, выберусь наверх — отогреюсь. Я проверил компас, не попала ли вода. Нет, все нормально. Я выбрал ход, который вел выше других к востоку...»

Доски веранды заскрипели резко и часто. В дверях стоял невысокий паренек в армейских брюках и синей рубашке.

— Вы меня звали, дядя Баграт?

— Доброе утро, Гоги. Мне нужна твоя помощь. Проснись.

Гоги протер заспанные глаза.

— Ты можешь провести нашего гостя к трещине в верхнем ущелье?

— Сейчас?

— Очень спешное дело. Он тебе объяснит по дороге. Возьмите веревку и крючья. Там, под землей, люди. Надо им помочь.

Он не сказал, что среди них его сын.

— Конечно, дядя Баграт.

— И возьмите лепешек и воды. Может, вам придется идти долго.

Я думал о том, что мне, Гиви, мысль о том, чтобы спуститься в какую-нибудь темную, холодную пещеру даже ради спелеологов, была бы ужасна. Бесо этого не боялся. Я тоже этого не боялся.

— Я буду ждать, — сказал старик.

Старушка стояла на веранде. Она протянула мне моток крепкой веревки и хурджин с лепешками и бутылью. Она перекрестила меня и оставалась на веранде, пока мы не скрылись из глаз. Щенок проводил нас до калитки и вежливо тявкнул на прощанье.

— Почта открыта? — спросил я.

— А что вам нужно? — спросил Гоги. Он был ниже меня на голову, но шагал широко, стараясь попасть мне в ногу.

— Телефон.

— Почта закрыта, а телефон есть у Левана. Вот его дом.

— Мы их не разбудим?

— Все уже встали.

Георгий обогнал меня. Когда я вошел в комнату, хозяин дома, в пиджаке поверх майки, коротко поздоровался со мной, показал на телефон и сразу вышел из комнаты. Георгий взял у меня веревку, хурджин и тоже вышел, сказав: «Через восемь набирайте».

Я позвонил в институт. Вниз, в справочное. Там не отвечали. Я совсем забыл, что еще нет семи, а город просыпается куда позже, чем Мокви. Я позвонил наверх, в ординаторскую. Вряд ли наши ушли, тем более после моего таинственного исчезновения.

Трубку подняли сразу. Это была Нателла. Я спросил басом: «Как состояние больного Бесо Гурамишвили?»

— А кто говорит? — спросила Нателла.

— Его дядя.

Я боялся, что, если она меня узнает, начнутся расспросы.

— Бесо немного лучше, но он еще без сознания. Это не ты, Гиви?

Нателла была не уверена. Она спросила, словно извинялась. Мне стало жалко ее.

— Да, это я. Но мне сейчас некогда. Я потом позвоню.

Я сразу повесил трубку.

Георгий с Леваном ждали меня.

— Он пойдет с нами, — сказал Георгий.

Мы поспешили к горам. Свернули с дороги и начали подниматься по тропе. Мои спутники шли быстро. Солнце начало пригревать. Я чувствовал, как бьется у меня сердце. Выдержу как-нибудь, ничего со мной не случится. Это от малоподвижной жизни. Надо по утрам делать гимнастику.

«...Я поднялся и заставил себя опереться на локти. Там, откуда я только что свалился, горела вечерняя звезда. Она уместилась точно в центре отверстия, и, хотя я знал, что вряд ли теперь доберусь до него, звезда была чем-то надежным, принадлежащим к светлому и сухому верхнему миру. Я сел. Было трудно дышать. Нет, не трудно, невозможно дышать. Надо было лечь и заснуть. Сколько часов я пробирался сюда? Десять, сто? Наверно, я на несколько минут потерял сознание, потому что, когда я снова открыл глаза, звезда сместилась к краю отверстия. Я стянул с себя куртку. Она мне только мешала. Сейчас я передохну и начну все снова...»

— Еще минут пять осталось, — сказал Георгий, — и будет та щель.

Далеко внизу, поблескивая под солнцем, вилась дорога. Где-то там и нашли Бесо...

«Нет, меня нашли дальше. Я лежал на земле. Было холодно. Был поздний вечер, я не мог поднять головы, чтобы посмотреть на ту звезду и сказать ей спасибо. Дорога была совсем рядом. Проехала машина, но у меня не было голоса, чтобы крикнуть. У меня ничего не было. Я попытался сползти по откосу вниз. Рука не послушалась меня, запуталась в свитере, свитер был мокрым то ли от воды, то ли от моей крови. Я знал, что кровь течет из виска, но мне нечем было ее остановить. Я знал, что сползу по осыпи дороги и меня заметят. И по моему следу на осыпи найдут отверстие в горе. На другой стороне дороги, чуть наискосок, стоит

дерево с двумя вершинами. Я лягу вдоль осыпи и покачусь вниз, как бревно. Только бы не потерять пакет Резо. Ни в коем случае не потерять... Там бальзам для его отца... В деревне Мокви, крайний дом, и там он меня ждет. Я покатился вниз по осыпи, а камни высовывались из нее и били меня, как кулаками...»

— Стойте, — сказал я.

— Устали? — спросил Георгий.

— Вы знаете эти места? Там, внизу, у дороги, есть большое дерево с двумя вершинами...

Они задумались.

— Может, у поворота?

— Нет. Там два дерева... А знаешь, у...

— Конечно, оно там.

— Слушайте тогда. Георгий, беги быстрее обратно в деревню и звони по телефону, который я тебе дам. Пускай они берут машину и едут туда, где нашли Бесо Гурамишвили. Понял? Но не к тому самому месту, а к дереву с двойной вершиной. Там серпентина, и он скатился на один виток дороги ниже, поэтому они не нашли выход. Ясно? А вы, Леван, ведите меня туда, только не бегом, я очень устал.

— Ничего, — сказал Леван. — Это под горку. А кто скатился на виток ниже?

— Я же сказал — Бесо.

— А почему вы раньше об этом не знали?

Тут бы мне ответить колкостью. Все равно же человек ничего не поймет. Но я поспешил ответить в лучших традициях Бесо, серьезно и по мере сил обстоятельно.

— Я не мог раньше вспомнить. Это был, очевидно, второй слой памяти. Сверху осталось то, что беспокоило Бесо в последнюю минуту перед тем, как он потерял сознание. И я вспомнил о старике Баграте.

— Вы вспомнили?

— Хорошо, считайте, что мы вместе вспомнили.

Скорей бы рассеялось наваждение. Бесо влиял на меня положительно. Если так пойдет дело, скоро я стану хорошим и меня все станут любить. Нателла будет счастлива, Давид будет счастлив...

Мы спускались по узкой тропинке к дороге, которая казалась тонкой извилистой речкой, потому что от нее отражались лучи утреннего солнца.



Я только раз видел, как погибает корабль. Другие этого никогда не видели.

Это не страшно, потому что ты не успеваешь мысленно перенестись туда и ощутить все по отношению к себе. Мы смотрели с мостика, как они пытались опуститься на планетку. И казалось, что это им удастся. Но скорость все-таки была слишком велика.

Корабль коснулся дна пологой впадины и, вместо того чтобы замереть, продолжал двигаться, словно хотел спрятаться внутрь камня. Но каменное ложе не пожелало поддаться металлу, и корабль начал расплываться, словно капля, упавшая на стекло. Движение его замедлялось, только мелкими брызгами, лениво и беззвучно, какие-то части его отделялись от основной массы корабля и черными точками взлетали над долиной, разыскивая удобные места для того, чтобы улечься и замереть. А потом это бесконечное движение, продолжавшееся около минуты, прекратилось. Корабль был мертв, и только тогда мое сознание с опозданием реконструировало грохот лопающихся переборок, стоны рвущегося металла, вой воздуха, кристалликами оседающего на стенах. Живые существа, которые там только что были, наверно, успели услышать лишь начало этих звуков.

На экране лежало многократно увеличенное лопнувшее черное яйцо, и потеки замерзшего белка причудливым бордюром окружали его.

— Все, — сказал кто-то.

Мы приняли сигнал бедствия и почти успели к ним на помощь. И увидели его гибель.

Вблизи, когда мы спустили катер и вышли к долине, зрелище приобрело должные масштабы и трагичность, происходящую оттого, что ты можешь примерить случившееся по себе. Черные точки превратились в лоскуты металла размером с волейбольную площадку, части двигателей, дюзы и куски тормозных колонн — полуманящие игрушки гиганта. Казалось, что, когда корабль, растрескиваясь, вжимался в скалы, кто-то запустил лапу внутрь и выпотрошил его.

Метрах в пятидесяти от корабля мы нашли девушку. Она была в скафандре — они все, кроме капитана и вахтенных, успели надеть скафандры. Видно, девуш-

ка оказалась вблизи люка, вырванного при ударе. Ее выбросило из корабля, как пузырек воздуха вылетает из бокала с нарзаном. То, что она осталась жива, относится к фантастическим случайностям, которые беспрестанно повторяются с того момента, когда человек впервые поднялся в воздух. Люди вываливались из самолетов с высоты в пять километров и умудрялись упасть на крутой заснеженный склон или на вершины сосен, отделяваясь царапинами и синяками.

Мы принесли ее на катер, она была в шоке, и доктор Стрешний не позволил мне снять с нее шлем, хотя каждый из нас понимал, что, если мы не окажем помощи, она может умереть. Доктор был прав. Мы не знали состава их атмосферы и не знали, какие смертоносные для нас, но безвредные для нее вирусы благоденствуют на ее белых блестящих, коротко стриженных волосах.

Теперь следует сказать, как выглядела эта девушка и почему опасения доктора показались мне, да и не только мне, преувеличенными и даже несерьезными. Мы привыкли связывать опасность с существами, неприятными нашему глазу. Еще в двадцатом веке один психолог утверждал, что может предложить надежное испытание для космонавта, уходящего к дальним планетам. Надо только спросить его, что он будет делать, если встретится с шестиметровым пауком отвратительного вида. Первой, инстинктивной реакцией испытуемого было извлечь бластер и всадить в паука весь заряд. Паук же мог оказаться бродящим в одиночестве местным поэтом, исполняющим обязанности непрямого секретаря добровольного общества защиты мелких птиц и кузнечиков.

Ждать подвоха со стороны тоненькой девушки, длинные ресницы которой бросали тень на бледные нежные щеки, при взгляде на лицо которой любого из

нас охватывало необоримое желание увидеть, какого же цвета у нее глаза, ждать от этой девушки подвоха, даже в виде вирусов, было как-то не по-мужски.

Этого никто не сказал, и я не сказал тоже, но у меня такое впечатление, что доктор Стрешний чувствовал себя мелким подлецом, чиновником, который ради буквы инструкции отказывает беспомощному посетителю.

Я не видел, как доктор дезинфицировал тончайшие щупы, чтобы ввести их сквозь ткань скафандра и набрать пробы воздуха. И не знал, каковы результаты его трудов, потому что мы снова ушли к кораблю, чтобы забраться внутрь и снова отыскать чудо — еще кого-то, оставшегося в живых. Это было бессмысленным занятием — из тех бессмысленных занятий, которые нельзя бросить, не доведя до конца.

— Плохо дело, — сказал доктор. Мы слышали его слова, когда пытались взобраться внутрь корабля. Это было нелегко, потому что его помятая стена нависала над нами, как футбольный мяч над мухами.

— Что с ней? — спросил я.

— Она еще жива, — сказал доктор. — Но мы ничем ей не сможем помочь. Она Снегурочка.

Наш доктор склонен к поэтическим сравнениям, но их прозрачность не всегда понятна непосвященному.

— Мы привыкли, — продолжал доктор, и, хотя его голос звучал у меня в наушниках, словно он обращался ко мне, я знал, что говорит он в основном для тех, кто окружает его в каюте катера. — Мы привыкли, что основой жизни служит вода. У нее аммиак.

Значение его слов дошло до меня не сразу. До остальных тоже.

— При земном давлении, — сказал доктор, — аммиак кипит при минус 33, а замерзает при минус 78 градусов.

Тогда все стало ясно.

А так как в наушниках было тихо, я представил, как они смотрят на девушку, ставшую для них фантомом, который может превратиться в облако пара, стоит лишь ей снять шлем...

Штурман Бауэр рассуждал вслух, не вовремя демонстрируя эрудицию:

— Теоретически предсказуемо. Атомный вес молекулы аммиака 17, воды — 18. Теплостойкость у них почти одинаковая. Аммиак так же легко, как вода, теряет ион водорода. В общем, универсальный растворитель.

Я всегда завидовал людям, которым не надо лезть в справочник за сведениями, которые никогда не могут пригодиться. Почти никогда.

— Но при низких температурах аммиачные белки будут слишком стабильными, — возразил доктор, будто девушка была лишь теоретическим построением, моделью, рожденной фантазией Глеба Бауэра.

Никто ему не ответил.

Мы часа полтора пробирались по отсекам разбитого корабля, прежде чем нашли неповрежденные баллоны с аммиачной смесью. Это было куда меньшим чудом, чем то, что случилось раньше.

* * *

Я зашел в госпиталь, как всегда заходил, сразу после вахты. В госпитале воняло аммиаком. Вообще весь наш корабль провонял аммиаком. Бесполезно было бороться с его утечкой.

Доктор сухо покашливал. Он сидел перед длинным рядом колб, пробирок и баллонов. От некоторых из них шли шланги и трубы и скрывались в переборке. Над иллюминатором чернел небольшой ячеистый круг динамика-транслятора.

— Она спит? — спросил я.

— Нет, уже спрашивала, где ты, — сказал доктор. Голос был глухим и сварливым. Нижнюю часть его лица прикрывал фильтр. Доктору приходилось каждый день решать несколько неразрешимых проблем, связанных с кормлением, лечением и психотерапией его пациентки, и сварливость доктора усугублялась преисполнявшей его гордыней, так как мы летели уже третью неделю, а Снегурочка была здорова. Только отчаянно скучала.

Я почувствовал резь в глазах. Першило в горле. Можно было тоже придумать себе какой-нибудь фильтр, но мне казалось, что этим я проявил бы брезгливость. На месте Снегурочки мне было бы неприятно, если бы мои хозяева, приближаясь ко мне, надевали противогаз.

Лицо Снегурочки, как старинный портрет в овальной раме, обозначилось в иллюминаторе.

— Страствуй, — сказала она.

Потом щелкнула транслятором, потому что исчерпала почти весь свой словарный запас. Она знала, что мне иногда хочется услышать ее голос, ее настоящий голос. Поэтому, прежде чем включить транслятор, она говорила мне что-нибудь сама.

— Ты чем занимаешься? — спросил я. Звукоизоляция была несовершенна, и я услышал, как за перегородкой раздалось стрекотание. Ее губы шевельнулись, и транслятор ответил мне с опозданием на несколько секунд, в течение которых я мог любоваться ее лицом и движением ее зрачков, менявших цвет, как море в ветреный, облачный день.

— Я вспоминаю, чему меня учила мама, — сказала Снегурочка холодным, равнодушным голосом транслятора. — Я никогда не думала, что мне придется самой

готовить себе пищу. Я думала, что мама чудачка. А теперь пригодилось.

Снегурочка засмеялась раньше, чем транслятор успел перевести ее слова.

— Еще я учусь читать, — сказала мне Снегурочка.

— Я знаю. Ты помнишь букву «ы»?

— Это очень смешная буква. Но еще смешнее буква «ф». Ты знаешь, я сломала одну книжку.

Доктор поднял голову, отворачивая лицо от струйки вонючего пара, ползущей из пробирки, и сказал:

— Ты мог бы и подумать, прежде чем давать ей книгу. Пластик страниц при минус пятидесяти становится хрупким.

— Так и случилось, — сказала Снегурочка.

Когда доктор ушел, мы со Снегурочкой просто стояли друг против друга. Если коснуться пальцами стекла, то оно на ощупь холодное. Ей оно казалось почти горячим.

У нас было минут сорок, прежде чем придет Бауэр, притащит свой диктофон и начнет мучить Снегурочку бесконечными вопросами. А как у вас это? А как у вас то? А как проходит в ваших условиях такая-то редакция?

Снегурочка смешно передразнивала Бауэра и жаловалась мне: «Я же не биолог. Я могу ему наврать, а потом будет неудобно».

Я приносил ей картинки и фотографии людей, городов и растений. Она смеялась, спрашивала меня о деталях, которые мне самому казались несущественными и даже ненужными. А потом вдруг перестала спрашивать и смотрела куда-то мимо меня.

— Ты что?

— Мне скучно. И страшно.

— Мы тебя обязательно довезем до дому.

— Мне не поэтому страшно.

А в тот день она спросила меня:

— У тебя есть изображение девушки?

— Какой? — спросил я.

— Которая ждет тебя дома.

— Меня никто не ждет дома.

— Неправда, — сказала Снегурочка. Она могла быть страшно категорична. Особенно если чему-нибудь не верила. Например, она не поверила в розы.

— Почему ты мне не веришь?

Снегурочка ничего не ответила.

...Облако, плывущее над морем, закрыло солнце, и волны изменили цвет — стали холодными и серыми, лишь у самого берега вода просвечивала зеленым. Снегурочка не могла скрывать своих настроений и мыслей. Когда ей было хорошо, глаза ее были синими, даже фиолетовыми. Но сразу выцветали, серели, когда ей было грустно, и становились зелеными, если она злилась.

Не надо было мне видеть ее глаза. Когда она открыла их впервые на борту нашего корабля, ей было больно. Глаза были черными, бездонными, и мы ничем не могли ей помочь, пока не переоборудовали лабораторный отсек. Мы спешили так, словно корабль мог в любой момент взорваться. А она молчала. И лишь через три с лишним часа мы смогли перенести ее в лабораторию, и доктор, оставшийся там, помог ей снять шлем.

На следующее утро ее глаза светились прозрачным сиреневым любопытством и чуть потемнели, встретившись с моим взглядом...

Вошел Бауэр. Он появился раньше, чем обычно, и был этому очень рад. Снегурочка улыбнулась ему и сказала:

— Аквариум к вашим услугам.

— Не понял, Снегурочка, — сказал Бауэр.

— А в аквариуме подопытный слизняк.
— Лучше скажем — золотая рыбка. — Бауэра не так легко смутить.

У Снегурочки все чаще было плохое настроение. Но что делать, если ты проводишь недели в камере два на три метра. И сравнение с аквариумом было справедливым.

— Я пошел, — сказал я, и Снегурочка не ответила, как обычно: «Приходи скорей».

Ее серые глаза с тоской смотрели на Глеба, точно он был зубным врачом. Я пытался анализировать свое состояние и понимал его противоестественность. С таким же успехом я мог влюбиться в портрет Марии Стюарт или в статую Нефертити. А может, это была просто жалость к одинокому существу, ответственность за жизнь которого удивительным образом изменила и смягчила отношения на борту. Снегурочка принесла к нам что-то хорошее, заставлявшее всех непроизвольно прихорашиваться, быть благороднее и добрее, как перед первым свиданием. Открытая безнадежность моего увлечения рождала в окружающих чувство, среднее между жалостью и завистью, хотя эти чувства, как известно, несовместимы. Иногда мне хотелось, чтобы кто-нибудь подшутил надо мной, усмехнулся бы, чтобы я мог взорваться, нагрубить и вообще вести себя хуже других. Никто себе этого не позволял. В глазах моих товарищей я был блаженно болен, и это выделяло меня и отделяло от остальных.

Вечером доктор Стрешний вызвал меня по интеркому и сказал:

— Тебя Снегурочка зовет.

— Что-нибудь случилось?

— Ничего не случилось. Не беспокойся.

Я прибежал в госпиталь, и Снегурочка ждала меня у йллюминатора. .

— Извини, — сказала она. — Но я вдруг подумала, что если умру, то не увижу тебя больше.

— Чепуха какая-то, — проворчал доктор.

Я невольно провел взглядом по циферблатам приборов.

— Посиди со мной, — сказала Снегурочка.

Доктор вскоре ушел, выдумав какой-то предлог.

— Я хочу коснуться тебя, — сказала Снегурочка. — Это несправедливо, что нельзя дотронуться до тебя и не обжечься при этом.

— Мне легче, — сказал я глупо. — Я только обморожусь.

— Мы скоро прилетим? — спросила Снегурочка.

— Да, — сказал я. — Через четыре дня.

— Я не хочу прилетать домой, — сказала Снегурочка. — Потому что пока я здесь, то могу представить, что касаюсь тебя. А там тебя не будет. Положи ладонь на стекло.

Я послушался.

Снегурочка прижалась к стеклу лбом, и я вообразил, что мои пальцы проникают сквозь прозрачную массу стекла и ложатся на ее лоб.

— Ты не обморозился?

Снегурочка подняла голову и постаралась улыбнуться.

— Нам нужно найти нейтральную планету, — сказал я.

— Какую?

— Нейтральную. Посередине. Чтобы там всегда было минус сорок.

— Это слишком жарко.

— Минус сорок пять. Ты потерпишь?

— Конечно, — сказала Снегурочка. — Но разве мы сможем жить, если всегда придется только терпеть?

— Я пошутил.

- Я знаю, что ты пошутил.
- Я не смогу писать тебе писем. Для них нужна специальная бумага, чтобы она не испарялась. И потом, этот запах...
- А чем пахнет вода? Она для тебя ничем не пахнет? — спросила Снегурочка.
- Ничем.
- Ты удивительно невосприимчив.
- Ну вот ты и развеселилась.
- А я бы полюбила тебя, если бы мы были с тобой одной крови?
- Не знаю. Я сначала полюбил тебя, а потом узнал, что никогда не смогу быть с тобой вместе.
- Спасибо.

* * *

В последний день Снегурочка была возбуждена, и, хотя говорила мне, что не представляет, как расстанется с нами, со мной, мысли ее метались, не удерживались на одном, и уже потом, когда я запаковывал в лаборатории вещи, которые Снегурочка должна была взять с собой, она призналась, что больше всего боится не долететь до дома. Она была уже там и разрывалась между мной, который оставался здесь, и всем миром, который ждал ее.

Рядом с нами уже полчаса летел их патрульный корабль, и транслятор на капитанском мостике непрерывно трещал, с трудом управляясь с переводом. Бауэр пришел в лабораторию и сказал, что мы спускаемся в космопорт. Он постарался прочесть записанное название. Снегурочка поправила его, словно мимоходом, и тут же спросила, хорошо ли он проверил ее скафандр.

— Сейчас проверю, — сказал Глеб. — Чего ты боишься? Тебе же пройти всего тридцать шагов.

— И я хочу их пройти, — сказала Снегурочка, не поняв, что обидела Глеба. — Проверь еще раз, — попросила она меня.

— Хорошо, — сказал я.

Глеб пожал плечами и вышел. Через три минуты вернулся и разложил скафандр на столе. Баллоны глухо стукнулись о пластик, и Снегурочка поморщилась, словно ее ударили. Потом постучала по дверце передней камеры.

— Передай мне скафандр. Я сама проверю.

Чувство отчуждения, возникшее между нами, физически сдавливало мне виски: я знал, что мы расстаемся, но мы должны были расстаться не так.

Мы сели мягко. Снегурочка была уже в скафандре. Я думал, что она выйдет в лабораторию раньше, но она не рискнула этого сделать до тех пор, пока не услышала по интеркому голос капитана:

— Наземной команде надеть скафандры. Температура за бортом минус пятьдесят три градуса.

Люк был открыт, и те, кто хотел еще раз познакомиться со Снегурочкой, стояли там.

Пока Снегурочка говорила с доктором, я обогнал ее и вышел на площадку, к трапу.

Над этим очень чужим миром ползли низкие облака. Метрах в тридцати остановилась приземистая желтая машина, и несколько человек стояли возле нее на каменных плитах. Они были без скафандров, разумеется, они были без скафандров — кто дома надевает эту трубуху? Маленькая группа встречавших затерялась на бесконечном поле космодрома.

Подъехала еще одна машина, и из нее тоже вылезли люди. Я услышал, что Снегурочка подошла ко мне. Я обернулся. Остальные отступили назад, оставили нас вдвоем.

Снегурочка не смотрела на меня. Она старалась угадать, кто встречается ее. И вдруг узнала.

Она подняла руку и замахала. И от группы встречающих отделилась женщина, которая побежала по плитам к трапу. И Снегурочка бросилась вниз, к этой женщине.

А я стоял, потому что я был единственным на корабле, кто не попрощался со Снегурочкой. Кроме того, в руке у меня был большой сверток со Снегурочкиным добром. Наконец, я был включен по судовой роли в наземную команду и должен был работать внизу и сопровождать Бауэра при переговорах с космодромными властями. Мы не могли здесь долго задерживаться и через час отлетали. Женщина сказала что-то Снегурочке, та засмеялась и откинула шлем. Шлем упал и покатился по плитам. Снегурочка провела рукой по волосам. Женщина прижалась щекой к ее щеке, а я подумал, что обeim тепло. Я смотрел на них, и они были далеко. А Снегурочка сказала что-то женщине и вдруг побежала обратно, к кораблю. Она поднималась по трапу, глядя на меня и срывая перчатки.

— Прости, — сказала она. — Я не простилась с тобой.

Это был не ее голос — говорил транслятор над люком, предусмотрительно включенный кем-то из наших. Но я слышал и ее голос.

— Сними перчатку, — сказала она. — Здесь только минус пятьдесят.

Я отстегнул перчатку, и никто не остановил меня, хотя и капитан и доктор слышали и поняли ее слова.

Я не почувствовал холода. Ни сразу, ни потом, когда она взяла мою руку и на мгновение прижала к своему лицу. Я отдернул ладонь, но было поздно. На обожженной щеке остался багровый след моей ладони.

— Ничего, — сказала Снегурочка, тряся руками,

чтобы было не так больно. — Это пройдет. А если не пройдет, тем лучше.

— Ты сошла с ума, — сказал я.

— Надень перчатку, обморозишься, — сказала Снегурочка.

Снизу женщина кричала что-то Снегурочке.

Снегурочка смотрела на меня, и ее темно-синие, почти черные глаза были совсем сухими...

Когда они уже подошли к машине, Снегурочка остановилась и подняла руку, прощаясь со мной и со всеми нами.

— Зайди потом ко мне, — сказал доктор. — Я тебе руку смажу и перевяжу.

— Мне не больно, — сказал я.

— Потом будет больно, — сказал доктор.



1. МАРИНА:

— Разумеется, я расскажу обо всем по порядку. Мне нет никакого смысла что-нибудь скрывать, тем более что я с самого начала подумала — лучше бы мне остаться дома. Но Рая такая милая, вы не представляете, какая она чудесная женщина, всегда готова помочь,

никогда ни в чем не откажет, а потом с ней по-человечески интересно. У меня немного друзей и, знаете, с возрастом становится все меньше, но я иногда говорила себе, что жизнь имеет смысл, если среди нас еще существуют такие люди, как Рая. С ее мужем я была знакома раньше, но очень поверхностно. Я знала, что ей с ним нелегко. Он подавал надежды, изобрел что-то интересное, ему прочили большое будущее, но он стал самым обыкновенным конструктором, не лучше других, а может, даже хуже. Ну и что из этого? Но Михаил всегда помнил о том часе, когда он был у всех на виду, о своем звездном часе, вы читали у Цвейга? А неудачи свои он никому не прощал. И меньше всех прощал их Рае, которая кормила его, одевала, брала на дом работу, если он уходил из очередного института, потому что ему, видите ли, завидовали. В общем, такие люди бывают везде, с ними всем тяжело, но домашним всего тяжелее. Вы меня понимаете? Нет, это относится к делу, непосредственно относится, потому что все бы сложилось иначе, будь у Михаила другой характер или если бы Рая была не такой, какая она есть, или если бы я вела себя по-другому.

Ну вот, Рая позвала меня поехать с ними за грибами. Все знают, как я люблю собирать грибы. Бывает, что окружающие соберут по десятку сыроежек, а я никогда не возвращаюсь без полной корзины. У них есть один знакомый художник, я не помню его фамилии, он вообще где-то на заднем плане остался, мы приехали, погода так себе, собирается дождь, посидели с художником, он один живет, а потом художник собрался в Москву и оставил нас на даче. Все еще было ничего, но потом Михаил спрашивает:

— Вы когда собираетесь вставать?

А нас разморило с дороги, да мы в тот день работали, устали, мы и говорим, что спешить не соби-

раемся. Когда встанем, тогда встанем. Михаил говорит:

— Я вас подниму в шесть утра.

Мы просим, ну хотя бы в восемь. А он отвечает, что если мы хотим отправиться в лес просто так, играть в бадминтон, то мы вольны поступать как нам вздумается, он же встанет в шесть и отлично обойдется без нас. Ну я вижу, что человек уже заводится — он несколько раз за вечер пытался взбунтоваться на разные темы, но все ему не удавалось, Рая сразу шла на компромисс, а у него не было еще достаточно запала, чтобы устроить войну. Мы с ним не стали спорить, легли спать, в шесть меня Рая разбудила, мы собрались, приготовили завтрак, а Михаил, естественно, спит и не собирается вставать. Мы его спрашиваем, зачем же нам было подниматься ни свет ни заря? А он, не раскрывая глаз, начинает вещать, что погода плохая и никаких грибов здесь нет, а кроме того, он приехал отдыхать, — в общем, выдает весь наш текст, только с другой стороны.

Мы вышли из дома в половине десятого и направились к лесу. Погода в самом деле ненадежная, и с полдороги Михаил начинает уверять нас, что сейчас начнется гроза и мы все вымокнем, и надо спешить домой, и что это за дурацкая идея пойти за грибами в такую погоду? Грозы, правда, никакой не намечалось, мог пойти самый обыкновенный дождик, в жару в лесу это даже приятно, не сахарные, не растаем.

Тут выглянуло солнце, и тогда Михаил начал рассказывать, что ему угрожает солнечный удар, и растительность ему там не нравится, и сейчас вот-вот налетят комары. В таком настроении мы вошли в лес.

В лесу Михаил сразу сообщил нам, что если тут когда-нибудь и были грибы, то до революции и до демографического взрыва. Теперь же здесь больше населения, чем грибов. Но если в поле я готова была вообще

повернуться и уехать в Москву, и только жалость к Рае меня удерживала, то в лесу я от них не зависела. Я сказала им «гуд бай» и пошла своей дорогой. Рая пыталась за мной последовать, но Михаил устроил представление на тему, что его никто не любит и все норовят бросить его на растерзание волкам и комарам. В результате я осталась совсем одна и до двенадцати собирала грибы в свое удовольствие.

Что вы спрашиваете? Как я нашла? Никто бы и не нашел, кроме меня. Я поднимала ветви елей, в кусты заглядывала — искала грибы, а нашла железку. Железка из земли высовывалась сантиметра на два, не больше, будто когда-то, тысячу лет назад, в землю попала и вглубь ушла. Меня удивило, что никакой ржавчины. Блестит. У меня ножик с собой был. Я вокруг ножиком хвою отгребла, пошатала, она из земли вышла. Какая она была? Ну я ведь ее вам рисовала, описывала. Ладно, повторю. Длинной она была сантиметров в двенадцать, похожа на кристалл, но сбоку что-то вроде шестеренки высовывается. И она мне показалась интересной, не то чтобы красивой, но интересной. Как будто абстрактная скульптура. Я подумала, что если ее поставить на буфет, то она будет смотреться лучше любых безделушек. Она была тяжелая, но в меру. Я вернулась на полянку, где мы договорились встретиться, а Михаил уже рвет и мечет: «Зачем мы с ней связались! Полдня потеряли! Грибов совсем нет, я бы лучше дома отдохнул». Это все относится ко мне, но я не реагирую, а показываю им корзинку с грибами. Михаилу хочется, вижу, сказать, что я сбегала на соседний рынок и купила их по рублю кучка, но сказать он так не может и потому заявляет, что грибы эти не стоят выеденного яйца и все они поганки, даже те, что кажутся белыми, и вообще это не белые, а сатанинские грибы, есть такие поганки, но их каждый дурак от белого отличит. В общем, Рая уже

близка к слезам, и она раскаивается, что меня завлекла, но я-то не очень расстраиваюсь... Тут Михаил видит у меня железку и заявляет, что железку надо выкинуть по возможности скорей, и вообще он не понимает, как только люди могут разбрасывать по лесам железо, словно это я разбрасываю по лесам железо, и он вырывает у меня из рук железку и со словами, что мы губим природу, кидает ее в кусты, я пытаюсь сохранить чувство юмора и отвечаю, что это он сам губит природу. Я хотела поставить железку в комнате у себя, и она там никому бы не мешала. А здесь, в кустах, наверняка на нее какой-нибудь заяц напорется. С этими словами я лезу в кусты, подбираю железку и несу ее дальше. Михаил ворчит, но мне его приказы не закон.

Потом, когда мы уже ехали в электричке, Михаил еще раз бросил взгляд на железку и заинтересовался. Он стал ее крутить и так и эдак, и увидел в железке какую-то не такую ось симметрии и в шестеренке тоже что-то углядел, и принялся ругать конструкторов, которые до такой простой вещи раньше не додумались, а додумались другие и с ним, Михаилом, своими мыслями не поделились. И потом он вообще забрал у меня железку и говорит, что должен показать ее начальству, потому что это все безобразие — им фондов не дают, а кто-то другой их выкидывает на ветер. Я отвечаю, что расставаться с железкой не намерена и я ее на буфет поставлю. Михаил чуть ли не в слезы, я бы не отдала, но Рая такими умоляющими глазами на меня глядела, что пришлось отдать, а он слово дал, что обязательно вернет, как только покажет своему начальству. Больше я этой железки не видела.

2. РАИСА:

Мне очень трудно говорить о собственном муже. Я понимаю, у него множество недостатков, но кто из

нас лишен недостатков? Михаил большой ребенок. У него была нелегкая жизнь, и ему пришлось сталкиваться с несправедливостями и непониманием. Я уверяю вас, он очень талантливый конструктор, и, может, моя вина в том, что я не подталкивала его, не развивала в нем тщеславия и даже ему потакала. Как мать, которая знает, что баловать дитя нельзя, но все равно балует. Поэтому за все, что случилось, я беру вину на себя.

Что вы говорите? Да, конечно, мне следовало тогда, в электричке, встать на сторону Марины. Но я очень устала в тот день: мы много ходили по лесу, грибов было мало, у Михаила испортилось настроение, и, когда я увидела, что ему хочется получить эту игрушку, я решила, пускай уж балуется, может, она пригодится ему для развития конструкторской мысли. Ему иногда достаточно небольшого толчка, чтобы его фантазия начала работать, а ведь в конечном счете это идет на пользу всем людям. А у Марины это украшение стояло бы на буфете без всякой пользы.

Марина меня послушалась, она чудесная, умная и добрая девушка, и, хоть ей очень не хотелось расставаться с железкой, она ее отдала Михаилу.

Дома Михаил весь вечер чертил что-то на листе бумаги, говорил, что его потрясает сказочная асимметрия этой железки, он ее со всех сторон рассмотрел и измерил, сказал, что куда-то понесет, однако я относилась к этому скептически, потому что Михаил не раз уже так загорался и потом остывал. Вот и к железке он остыл дня через два. Она валялась у нас на столе, и я сказала Михаилу: «Давай вернем ее Марине. Марина меня уже спрашивала». Он, разумеется, вскипел, и тогда я перестала спорить, а утром тихонько унесла железку на балкон и там положила. Я рассудила, что если я отдам ее Марине сразу, то Михаил может спохватиться и будет очень оскорблен. А если он спохватится сейчас, я ска-

жу — она на балконе. Пройдет еще несколько дней, и он забудет.

Нет, я не заметила тогда никакой разницы. Ни в весе, ни в размере. А на следующий день пошел сильный дождь, Михаил выглянул в окно и увидел, что железка лежит на балконе. Он очень огорчился. Он принес железку с балкона, вытер и сказал мне, что я совершенно не думаю о его будущем. Извините, что я так говорю о Михаиле, но в тот момент я вела себя невыдержанно, сказала, что все эти игрушки только составляют видимость жизни, а настоящая жизнь проходит мимо, в общем, я была груба, накопилось многое, и я несправедливо напала на Михаила. А после тяжелого разговора я ходила прибитая, как собачонка, а Михаил тоже стал мрачный и начал снова измерять эту железку и что-то чертить. Потом, когда я уже накормила его ужином и он снова стал со мной разговаривать, он вдруг предъявил мне претензию, будто я ему подsunула неправильную линейку. Я ничего не поняла. Какая неправильная линейка? Все линейки одинаковые. Нет, говорит, я ему все измерения испортила, где его линейка? Ну, я нашла его линейку, он снова свою железку смерил, что-то записал, совсем расстроился. А я хотела его пожалеть, подошла поближе, он сначала не хотел со мной разговаривать, ворчал, потом смилостивился и показывает мне железку. «Немного, — говорит он, — подросла». Я смотрю, ничего не вижу, но спорить с ним не стала, думала — переутомился. Только вечером, когда Михаил ушел куда-то, я взяла железку, пригляделась, и мне показалось, что сбоку у нее появилось второе колесико, маленькое, совсем миниатюрное, как горошинка. Где показать колесико? На этом рисунке? Так вот здесь оно было.

И тут я совершила еще одну ошибку. Я сказала Михаилу, что, может, пора показать железку специалистам. Вдруг они ее потеряли и теперь ищут. Я даже попыта-

лась на самолюбие Михаила подействовать. «Тебе же, — говорю, — интуиция подсказывает, что с железкой неладно. С первого мгновения». — «Нет, — говорит, — интуиция меня обманула». И велел больше к нему не приставать, потому что он сам примет решение. Мне бы самой принять меры, но дел у меня по горло... Я в последний раз сказала, что на его месте я бы все-таки... и так далее. Он вспылил и сам железку в помойное ведро бросил. Я ее потихоньку снова на балкон вынесла, чтобы Марине вернуть.

Прошло дня три-четыре. Я на железку и не смотрела. Дожди были? Да, как раз все эти дни дожди шли. Я только на четвертый день на балкон вышла, вечером, цветочки посмотреть. Уже стемнело, и, когда я о железку споткнулась, не сразу поняла, в чем дело. Лежит большая, сложная, с колесиками в разные стороны, а когда я нагнулась и попыталась ее поднять, вижу, что она проломила ящик на балконе, в котором земля и цветы посажены. Лежит она, поблескивает в сумерках, а я так перепугалась, что кричу Михаилу, чтобы бежал на помощь. Он пришел, сделал вид, что не удивился, и даже говорит: «Я это предвидел». Меня, конечно, черт потянул за язык: «Ты предвидел, что твоя железка ящик с цветами ломает?» А он серьезно ответил: «Это самопроизводящая автоматическая система, я подозреваю, засланная с иных миров для сборки и накопления информации». Может, я и неправильно слова его запомнила, но смысл точный. А я тогда добавила масла в огонь: «Вот она в помойном ведре и собрала бы информацию». А он осторожно ее поднимает, молча несет в комнату, кладет прямо на скатерть, словно хрустальную вазу. Я тогда тоже ее разглядела. Если раньше ее можно было назвать железкой, то теперь это была целая машина. Даже то колесико, которое было размером с горошинку, стало с мою ладонь, да не просто

колесиком, а тройным, переливающимся, и если его тронуть, то начинало вертеться. И шестеренок я насчитала восемь. Там и проводки были, и кристаллы — все, что угодно. Не могу сказать, что поверила в то, будто это автоматическая система, но, конечно, удивилась и сказала: «Ну уж теперь ты отнесешь эту штуку?» А он посмотрел на меня как-то даже испуганно и говорит: «Ты с ума сошла! Это же мой шанс!» Уволок машину в угол, к себе на письменный стол, и начал ее обрисовывать, мерить, взвешивать, как мальчик с новой игрушкой — не отдам, и все! А что мне прикажете делать? Звонить в милицию или в Академию наук? У нас, видите ли, есть железка с колесиками, в лесу нашли, она на балконе растет, и мой муж считает, что ее нам марсиане подкинули, чтобы собирать информацию.

В тот вечер он засиделся с ней допоздна. Я заснула, потому что устала за день, но была очень обеспокоена и ночью проснулась от какого-то неприятного предчувствия. Вижу, Михаил спит, голову положил на стол и уснул. А машина стала еще больше, почти весь стол заняла, банка с цветами лежит на боку, придавленная шестеренками, и из нее вода вылилась, но на полу сухо и на столе сухо. И вот тогда у меня возникло ощущение, что эта машина живая. Живая, умная, злая, ей хочется пить, но ей захочется и есть — и меня обуял ужас за Михаила. Я как закричу: «Миша! Миша! С тобой все в порядке?» А Миша поднял голову, тяжело так глазами мигает, ничего не понимает, где он, что с ним. Потом говорит: «Иди спать». Я послушалась, только не спала долго, ворочалась, переживала, понимала, что у Михаила сейчас внутренний конфликт.

Утром я уходила на работу, Михаил еще спал, я поглядела на машину. Вокруг бумаги набросано — просто ужас. Все исчеркано цифрами, формулами, рисунками. Одно из колесиков валялось отдельно. Я поглядела —

может, само оборвалось. Но потом вижу — лежит напильник и много металлической трухи. Значит, отпилил. Я хотела его спросить об этом, но не решилась будить, ему на работу скоро. Поставила будильник на полдевятого и ушла. Днем у меня очень плохое настроение было. Я даже Михаилу позвонила на службу. Говорят, нет его. Тогда я домой позвонила. Михаил долго не подходил к телефону, подошел наконец, голос злой. Я спрашиваю: «Как дела?» — отвечает: «Все в порядке, занят». Спрашиваю: «Может, плохо себя чувствуешь?..» — «Нет, чувствую себя нормально». Я тогда сдуру упрекнула его за то, что он от машинки колесико отпилил. Вы бы знали, что тут случилось! «Ты, — говорит, — не могла бы всей Москве растрезвонить? Я, — говорит, — ночей не сплю, проникаю в тайну прибора, от которого зависит мое будущее. Это же единственная и, может, последняя для меня возможность сделать рывок в бессмертие. — Так и сказал: «в бессмертие». — Я, — говорит, — должен сегодня, сейчас, понять функциональный смысл этой машины. Это, — говорит, — дар богов мне лично, вызов моему самолюбию и таланту». И повесил трубку.

Еще часа два я на работе помаялась, потом отпросилась и бросилась домой. Уж очень Михаил был нервный. Как бы чего не натворил. Мне и Мишу жалко было, и машинку тоже, я понимаю, что не может быть сравнения между живым и близким человеком и неизвестно откуда взявшейся железкой. Но у меня к ней было какое-то странное чувство, словно она живая. Я троллейбуса долго ждала, потом вспомнила, что дома есть нечего, в магазин забежала, сама виновата — когда пришла, Михаила дома нет, и машинка лежит вся разломанная на мелкие детали. Я даже заревела. В квартире чад, он еще записки и бумаги жег. Не выдержал напряжения, не справился с собственным шансом. Этого я и боялась. Тут открывается дверь, и появляется мой Михаил. На-

веселе, море ему по колено. «Что ты наделал?» — спрашиваю. А он расстроился, что я раньше времени пришла. «Зачем, — говорит, — трогала? — А потом подумал и новую версию мне выдает: — Это, — говорит, — чуждый нам разум. Зловещий. Я его понять не в силах, и человечество не в силах. С ним надо бороться...» А я-то вижу, что он от собственного бессилия.

3. МИХАИЛ:

— Мне вообще непонятен этот допрос, и я считаю, что вы не имеете права. Ну ладно, пускай не допрос, пускай беседа, однако здесь мы не на равных. Я не считаю себя в чем-либо виноватым. Я руководствовался разумными соображениями — это изделие чуждого нам и враждебного разума, и если бы я не уничтожил его собственными руками, весь мир мог бы от этого погибнуть. Какие у меня основания так полагать? Мой опыт. Мой опыт инженера и изобретателя, моя интуиция, в конце концов.

— Вы нелогичны, Михаил Анатольевич. Если вы так уверены в своей правоте, что заставило вас на следующий день собрать детали и отнести их в институт?

— Я убил эту тварь. Но ее части могли пригодиться науке. Мой шаг очевиден.

— Вы сделали это по настоянию жены?

— Ни в коем случае. Моя жена малообразованный человек, и она не могла понять мотивов моих поступков. А что, она вам и это рассказала?

— Нет. Она этого не рассказывала. Я предположил, что, увидев плоды вашей исследовательской деятельности, она решила отнести остатки куда-нибудь, а вы испугались и сделали это сами.

— Значит, рассказывала.

— Так и было?

— Это непринципиально.

— Вы полагали, будто сможете показать окружающим, что стоите большего, чем они о вас думают. А когда поняли, что это сооружение выше вашего понимания, что вам из него ничего не извлечь, вы разломали его, чтобы оно не попало в руки тем, кто сможет понять, разобраться, а вас при этом не будет, вашего участия не потребуется.

— Если вы собираетесь мне угрожать, я поднимусь и уйду. Я не был заинтересован в этой штуке. Я защищал человечество от угрозы извне. Вы можете навязывать мне любые мысли, но я вас не боюсь, я никого не боюсь, ни здесь, ни в другом месте.

— Хорошо. Я, видно, не смогу поколебать вашу уверенность в себе. Хотя, подозреваю, ее и не было с самого начала. Но зачем вы сожгли утром все ваши записи и рисунки? Они могли бы нам помочь.

— Понимание опасно. Это игрушка, присланная нам издалека для того, чтобы потом поработить человечество.

— Мне приятнее бы думать, что вы искренни. Но, к сожалению, я не могу вам верить. Вы хотели забыть об этом, как забываете о своих неудачах, взваливая ответственность за них на других людей. Но когда вы увидели, что ваша всегда покорная жена все-таки собрала остатки железки и собирается отнести их, вы поняли, что на этот раз вам не удастся настоять на своем, и бросились к нам со своей первой версией. Вы помните свою первую версию?

— У меня всегда была одна версия.

— Я напому. Вы пришли к нам и сообщили, что нашли в лесу эти детали. Как есть. А потом запутались в своем рассказе, и мы вам не поверили. Вы даже не смогли назвать место, в котором это случилось. Потом на сцене появилась ваша жена...

— Я не хотел вовлекать в эту историю близких мне людей.

— Сомнительно...

4. МАРИНА:

— Вот этот лес... Конечно, я помню. Здесь Михаил начал капризничать, что пойдет дождь и нам надо спешить обратно. А вот оттуда, от кустиков, я пошла одна. Вы думаете, что это была разумная машина? Представляете, какой ужас — я собиралась ее поставить на буфет как украшение! И еще эта история, когда Рая рассталась с Михаилом, я как будто чувствую свою вину — не отдала бы я железку, все бы осталось по-прежнему. Вы не думайте, что я жалею Раю. Нет, ей давно надо было с ним разойтись — это не жизнь, а сплошная каторга. Но все-таки семья...

Теперь левее, вот по этой дорожке. Я обычно никогда не хожу по дорожкам, но в то утро я сразу увидела, что мы опоздали и тут уже прошли грибники, поэтому я сначала углубилась в лес, шагов на двести, а потом уже стала искать. Здесь я первый гриб нашла, а скажите, вы тоже думаете, что эта штука нам угрожала? Нет? Я тоже так не думаю, она была такая милая, красивая. Но если она машина, почему она росла и питалась? Я знаю, мне Рая рассказывала, как она всю воду у цветов выпила. Значит, Михаил совершил убийство? Я читала один фантастический роман, там как раз поднимается эта проблема, что ни в коем случае нельзя стрелять по представителям иноземных цивилизаций, даже если они совсем не похожи на людей. Конечно, Михаил совершенно не прав, и когда мы обсуждали на работе эту проблему... Ну и что, если вы просили не говорить, но как можно не говорить, если там и я, и Рая, и все ее проблемы, все равно нам мало кто поверил. Когда мы обсуждали, то Темников, а он очень образованный и ум-

ный, сказал, что долг Михаила был найти контакт с этим существом, а не пороть панику и не заниматься уничтожением. Я не осуждаю Михаила, то есть я его осуждаю, но не настолько, потому что я тоже перепугалась бы и убежала... Куда теперь? Дайте подумать. Направо, дойдем до овражка и перейдем его. Хорошо, что я надела резиновые сапоги, там мокро внизу. А ведь у вас должна быть своя версия. Как вы думаете, она инопланетная? А как она прилетела?

— Нам, Марина, трудно сделать окончательные выводы. Мы полагаем, что эта штука попала к нам из космоса. Но вам расскажешь, а вы тут же побежите поднимать панику в масштабе всей Москвы. Вас не удержишь.

— Я никому лишнего не скажу, на меня можно положиться. Знаете, как меня в институте девчата звали? Маринка-могилка, это потому, что никто не умел лучше меня держать секреты. А как же она попала на Землю? Ее сбросили с космического корабля? Да? Они за нами следят, я в кино смотрела, они прилетают, строят нам пирамиды и статуи на острове Пасхи. А вы знаете о Баальбекской террасе? Ее совершенно невозможно построить без инопланетной техники. А теперь все-таки признайтесь, это был такой разведчик, который должен выяснить, насколько мы развитые и стоит ли нам помогать?

— Мы должны вас разочаровать, Марина. Никто нам эту штуку не кидал, и вряд ли она может быть использована как разведустройство. В ней ничего подобного нет. Это живой организм.

— Железный?

— Нет, не только железный. У него сложный состав.

— Я всегда говорила, что Михаил может убить человека. У него такой особенный взгляд. А вы думаете, что его товарищи могут скрываться тут же в лесу и

ждать нас? А если они захотят отомстить за своего товарища? Вам выдают пистолеты?

— Взгляд у Михаила Анатольевича самый обыкновенный, бывают и хуже. Он просто понял свое бессилие перед тем, с чем столкнулся. Он этого не смог вынести. Вот и отомстил.

— Железке?

— Да. Железке. И себе. И всем, кого считает своими недоброжелателями. Но это долгий разговор. Мы скоро придем к тому месту?

— Да. Уже рядом. У меня отличная зрительная память. Вот сейчас будет ельник, а потом то место. А если вы думаете, что его товарищи нас не ждут, почему мы идем в лес? Я там хорошо смотрела. Там только одна такая штука была. Маленькая совсем.

— Мы верим вам, Марина. Но если наши подозрения правильны, то мы можем увидеть и другие такие же железки.

— Но почему никто не заметил, как они падали? Ведь если они падали, обязательно бы раскалились и показались метеоритами. Здесь не Сибирь, а Подмосковье. Кто-нибудь обязательно бы заметил. А особенно если несколько метеоритов.

— А если это были не метеориты?

— А что же?

— Микроскопические споры.

— Споры?

Марина не успела выяснить, что же они имеют в виду. Впереди, среди елей, что-то блесело. Они пробежали несколько шагов и оказались на небольшой полянке, окруженной густым ельником. На полянке стояло три дерева. Деревья были металлические и чем-то напоминали на первый взгляд новогодние елки, потому что были густо увешаны какими-то геометрическими деталями, шарами, зубчатыми колесами, и все эти украшения дви-

гались под ветром, позвякивали друг о дружку. Деревья были довольно большими, выше Марины, они стояли крепко, и стволы их у самой земли расходились трубками, как будто они стояли на ножках от торшера.

— Чего же вы мне раньше не сказали! — воскликнула Марина, останавливаясь на краю лужайки.

— Мы не были уверены, — сказал профессор Смирнов.

— А это у них плоды?

— Нет, наверно, нечто вроде листьев. Ими они собирают солнечную энергию.

— И вот они прилетели сюда микроскопическими спорами?

— Наверно.

— А какие же у них будут плоды?

— Вот это самое интересное.

— Как жаль, что Рая не видит... Знаете что, не говорите пока Михаилу, что вы нашли их. Пускай помучится, что погубил первый саженец.



Олимпийский комитет всегда скупится на телеграммы. Да и отправляют их в последнюю очередь. Сначала надо сообщить о каких-нибудь затерявшихся контейнерах, вызвать Франки к Оле, оповестить Галактику о симфоническом концерте — и лишь потом подходит черед депешам Олимпийского комитета...

Я отдал спорту всю жизнь. В молодости я ставил

рекорды, и именно мне принадлежали «два пятьдесят четыре» в высоту на Олимпиаде в Песталоцци. Теперь об этом помнят лишь историки спорта и старики вроде меня. Вторую половину жизни я посвятил тому, чтобы вертелись колеса спортивной машины. Кому-то приходится это делать. Кому-то приходится разбирать споры между судьями и федерациями, улаживать конфликты и в ожидании рейсовой ракеты давиться синтекофе в забытых богом космопортах Вселенной.

Когда я прыгнул на два пятьдесят четыре, мне аплодировали миллионы людей, и на какое-то мгновение я был самым знаменитым человеком на Земле, вернее, в Солнечной системе, вернее, везде, где обитают гуманоиды. Сегодня я, на мой взгляд, делаю куда больше, чем раньше. Не будь моего вмешательства, провалились бы многие матчи и стали бы врагами многие порядочные люди. Но никто мне не аплодирует. Я старый мальчик на побегушках, профессиональный деятель от спорта и ворчун. Телеграммы настигают меня, как пули, и кидают в сторону от намеченного пути, отдаляют от дома и настоящего кофе и не дают возможности задуматься, послать подальше всю эту бестолковую, суматошную не по возрасту жизнь и удалиться на покой.

Телеграмму я получил в космопорту, когда ждал пересадки. Совершенно непостижимо, как она меня разыскала, потому что, если сидишь на самом видном месте, никакая телеграмма, как правило, тебя не найдет.

Ко мне подошел тамошний чиновник в нелепейшем, на мой взгляд, стесняющем движения разноцветном наряде со множеством блестящих деталей и спросил на ломаной космолингве, не я ли уважаемый Ким Перов, ибо мое уважаемое имя он углядел в списке пассажиров корабля, отлетающего через час на уважаемую Землю. Тут мне пришлось признаться, что я и есть уважаемый Ким Перов.

«Просим, — начиналась телеграмма, а это всегда означает, что придется заниматься чем-то, что не хочется делать моим коллегам, — заглянуть (слово нашли великолепное!) на Илигу, разобрать протест Федерации-45 (самая склочная из федераций, уж я ручаюсь). Встреча организована. Подробности на месте. Сплеш».

Сплешу ровным счетом ничего не стоило выслать мне депешу подлиннее, из которой я смог бы понять, кто и на кого обижен и кого с кем я буду мирить. Или осуждать. Наконец, он мог сообщить мне, где расположена эта Илига (если радисты по своему обыкновению не перепутали названия).

Настроение у меня испортилось до крайности, и я отправился в диспетчерскую. Там обнаружилось, что, во-первых, Илига находится в другом конце сектора и проще было бы послать туда человека прямо с Земли, чем вылавливать меня в глубинах Галактики. Во-вторых прямого рейса отсюда нет. Надо лететь до звездной системы с непроизносимым названием, а там пересаживаться на местный рейс, который, вернее всего, отменен года два назад.

Узнав все это, я высказал про себя все, что думаю о Сплеше и Олимпийском комитете в целом, а затем погрузился на корабль. В полете я писал и рвал разнообразные заявления об отставке. Это мое хобби. Я лучший в Галактике специалист по сочинению заявлений об отставке. Пока я пишу их, мной овладевает сладкая уверенность в собственной незаменимости.

Хорошо еще, что на Илиге были предупреждены о моем появлении.

Автомобиль с пятью кольцами (когда-то они означали пять континентов Земли) ждал меня у самого пандуса. Первым шагнул ко мне чиновник. Мой духовный брат. Возможно, и ровесник. Мне даже показалось его лицо знакомым, вроде я сталкивался с ним на конгрессе

в Плутонвилле, где то ли я голосовал за его предложение уменьшить футбольное поле, то ли он возражал против моего предложения изъять из олимпийской программы стоклеточные шашки.

Кроме чиновника, меня встречали два деятеля рангом пониже, две юные гимнастки с цветами, девушка с зелеными волосами и мрачный парень, которого я принял сначала за боксера, потом за шофера, а он оказался переводчиком. Как переводчик он нам не пригодился: все знали космолингву.

— Добро пожаловать, — сказал мне главный чиновник. — Мне кажется, что мы с вами где-то встречались. Вы не были на конференции легкоатлетических ассоциаций в Берендауне?

Именно на той конференции я не присутствовал, о чем и поставил в известность моего коллегу, осведомившись не менее вежливо, не случилось ли ему посетить Плутонвилль. Он там не бывал. Мы отложили эту тему до лучших времен, и, отягощенный двумя букетами, я проследовал к машине, куда вместились все встречающие. В этой машине мы провели последующие полчаса — столько времени понадобилось, чтобы оформить мои документы и получить багаж.

Я бы предпочел сразу ознакомиться с обстоятельствами дела, но местный председатель Олимпийского комитета (с которым мы не встречались ни в Плутонвилле, ни в Берендауне) занимался моим багажом, поэтому я в основном рассказывал о погоде, которая сопровождала меня в пути, и расспрашивал, какая погода стоит на Илиге. Переводчик в беседу не вмешивался, хранил мрачную мину и шевелил губами, беззвучно переводя мои слова на английский, а слова илигийских чиновников на какой-то из земных языков. Девочки-гимнастки рассматривали меня в упор и отчаянно шептались. А меня неотступно преследовала

мысль: а что, если их проступок перед федерацией настолько серьезен, что они пойдут на все, только бы превратить меня в союзника? Как ненавидел я в этот момент скрягу Сплеша, вечно экономившего на космограммах. Как мне узнать о сути дела, не показав хозяевам, что этой сути я не знаю?

— Вам жарко? — спросила миловидная девушка с зелеными волосами. Я еще не знал, мода это или генетическая особенность.

— Нет, что вы, — ответил я, вытирая лоб платком.

— Вы, наверно, очень расстроены, что вам пришлось из-за нас нарушить свои планы. Из-за меня.

— Из-за вас?

— Мы получили уведомление от самого Сплеша, — перебил ее чиновник. — Что вы изменяете из-за нас свой маршрут. Это очень любезно с вашей стороны. Мы постараемся разнообразить ваш досуг. На завтра назначена экскурсия к водопадам, а затем вас ждет легкий обед на вершине горы Ужасной.

Меня не очень обрадовала перспектива легкого обеда на Ужасной горе, а вот слова, оброненные девушкой, кое-что приоткрывали. Значит, она в чем-то провинилась. Это уже клочок информации. Итак, девушка была на каких-то соревнованиях и там чего-то натворила. Ну что же, конфликты такого рода легче разрешить, чем споры о количестве участников, жалобы на плохое размещение команды или неправильную систему подсчета очков. Да и девушка была скромна на вид и чувствовала себя виноватой.

Наконец мой коллега вернулся, сообщив, что багаж уже отправлен в гостиницу. Я лихорадочно пытался вспомнить, как его зовут, но, разумеется, так и не вспомнил.

Машина неслась по ровному шоссе, и хозяева махали руками, стараясь заинтересовать меня красотами окру-

жающей природы. Но что может поразить тебя, если ты побывал на десятках космодромов Галактики? Я вежливо восторгался. Так мы и доехали до города.

Город был также обычен, потому что, если у тебя две руки и две ноги, тебе нужны стены, крыша над головой и даже мебель. А разница в архитектуре — дело вкуса. Я в этом не разбираюсь. Я устал и хотел спать.

Но путешествие по городу заняло больше времени, чем дорога от космодрома. Город задыхался в тисках транспортного кризиса.

— Уже скоро, — сказала девушка виноватым голосом, словно это она придумала пробки на перекрестках.

Раздался скрип тормозов, скрежет, и я инстинктивно вцепился в подлокотники кресла, вытягивая шею, чтобы увидеть случившееся.

Большая черная птица взлетела перед одной из машин метрах в тридцати впереди нас. Я перевел дух. Мои сопровождающие заговорили, перебивая друг друга, только переводчик хранил гробовое молчание, и тогда я, чтобы принять участие в беседе, сказал:

— У нас птицы тоже иногда приводят к катастрофам. Особенно в воздухе.

На меня все посмотрели странно, будто я сказал что-то неприличное, и я подумал о порою невероятных социальных табу, которые можно встретить в чужих мирах. Да нужно ли далеко ходить за примерами? Многие помнят известный скандал, происшедший во время визита Делакруза на Прембол, где совершенно недопустимо, если мужчина встает в присутствии дамы.

Еще минут через пять мы добрались до гостиницы, и мои хозяева предложили мне отдохнуть.

— А девушка пусть на минутку задержится, — попросил я.

Хозяева, видно, оценили мой ход и закивали головами как-то наискосок, повернулись и проследовали к ма-

шине, а девушки-гимнастки вытащили из машины букеты и снова мне их вручили. Так я и остался посреди холла, обнимая разноцветные цветы.

Девушка робела, краснела, ломала пальцы и явно изображала крайнюю степень вины.

— Я вас сейчас отпущу, — сказал я. — Только один вопрос.

— Конечно, — сказала она покорно.

Было жарко, и вентиляторы под потолком гоняли горячий воздух. Подошел портье и взял у меня букеты, за что я ему был крайне признателен.

— Как зовут вашего уважаемого председателя? — спросил я.

Девушка что-то прошептала, и я попросил ее записать имя на листе бумаги печатными буквами. Должен не без гордости сказать, что на прощальном банкете, после нескольких часов тренировки, я умудрился прочесть все тридцать шесть букв подряд, за что был обласкан бурными аплодисментами присутствующих. По той же причине я попросил разрешения называть девушку Машей, на что она согласилась, хоть это звуко-сочетание не имело ровным счётом никакого отношения к ее грациозному имени, состоявшему из двадцати восьми согласных букв с придыханиями после четных.

— Итак, — начал я после того, как Маша кончила выводить буквы на бумаге. — Каково ваше личное отношение к тому, что произошло?

Такой вопрос я мог задать и зная суть дела.

— Ой, — воскликнула Маша. — Мне так стыдно! Но меня подвели нервы.

— А вы подвели команду?

— Если бы только команду! Теперь, наверно, никого с нашей планеты не будут допускать к соревнованиям.

— Хорошо, — у меня больше не было сил разговаривать. — Идите. А я отдохну.

Я прошел в номер и принял душ. Значит, ее подвели нервы. Ну что ж, ничего удивительного. Почти все спортивные грешники ссылаются на нервы. Но такая милая девушка...

Я заказал в номер кофе. Мне принесли темный напиток со вкусом жженой резины. Лучшего я и не ждал.

— Простите, — спросил я официанта. — А есть ли здесь неподалеку место, где подают настоящий кофе?

— У нас самый настоящий, лучший кофе.

— Верю. А из чего его готовят?

Официант посмотрел на меня с искренним сочувствием и объяснил, что кофе — это такая трава, корни которой высушиваются и перемалываются, пока не примут благородный фиолетовый оттенок.

Поблагодарив официанта, я хотел выплеснуть драгоценный напиток, но тот, словно почувствовав мое разочарование, сказал:

— Есть люди, называющие этим словом странные коричневые зерна, которые привозят с Земли. Их подают в кафе «Африка» — два квартала отсюда. Чего только не сделает с людьми мода!

Официант жалел снобов, которым приходится глотать всякую гадость, а я воспрял духом и через пять минут отправился в кафе «Африка».

Квартал, в котором стояла гостиница, отделялся от следующего небольшим парком. Я шел не спеша и даже остановился на берегу пруда, обрамленного бетонным барьерчиком. К вечеру солнце грело уже не так отчаянно, можно было дышать, и от воды исходила прохлада.

На другом берегу прудика счастливые родители возились у коляски с младенцем. Младенцу на вид было около года — он еще не умел ходить, но стоял в коляске довольно уверенно. На макушке у него торчал белый хохолок, и младенец заливался счастливым смехом, которому вторили папа и мама. Младенец напоминал мне

младшего внука Егорушку, и мне на минуту показалось, что я вернулся домой.

Вдруг папаша поднял младенца на руки и, поцеловав в лобик, забросил в воду. Подальше от берега.

Я было бросился к воде, движимый естественным желанием спасти малыша. Но прежде чем я успел что-нибудь сделать, я заметил: папа с мамой продолжают счастливо смеяться, что говорило либо о их законченном цинизме, либо о том, что младенцу ничто не грозит. Смеялись и случайные прохожие, остановившиеся у пруда. Смеялся и младенец, который препотешно бултыхал ручками и ножками и ко дну не шел.

Тогда я понял, что здесь детей учат плавать раньше, чем они научатся ходить. Таких чудачков я знал и на Земле. И когда я это понял, то немного успокоился. Но ненадолго. Прошло еще несколько секунд, и ручонки младенца, видно, устали, улыбка пропала с его личика, и, тихо пискнув, он пошел ко дну.

Лишь круги по воде...

Я сделал то, что в моем положении сделал бы каждый порядочный человек. Я прыгнул с бетонного бортика в воду и нырнул. В конце концов, пруд был так велик, а перепуганные родители наверняка замешкаются.

Вода была зеленоватой, но довольно чистой. Покачивались водоросли, и темными теньями рядом со мной проплывали рыбы. Пруд оказался не очень глубоким — метра два-три: на дне ребенка не было видно. Я на мгновение вынырнул, чтобы вдохнуть воздуха, и успел разглядеть испуганные лица людей, собравшихся вокруг пруда. Мокрый костюм тянул меня ко дну, и тут я понял, что совсем потерял былую спортивную форму и, если не направлюсь к берегу, спасать придется меня.

Я вынырнул и увидел, как улыбающийся папаша вынимает из воды своего улыбающегося детеныша. На последнем издыхании я выбрался из воды поближе к ку-

стам и подальше от счастливых родителей. Там на скамеечке сидела Маша.

— Что с вами? — спросила она тихо. — Вы так купались?

В вопросе звучала жалкая попытка уважить странные обычаи моей родины, где старики обычно ныряют в воду в костюме и ботинках.

— Да, — сказал я сквозь зубы. — У нас такой обычай.

— Такой?! И вам не холодно?

— Что вы, — я постарался улыбнуться. — Очень тепло.

— Вы куда идете? — спросила Маша, стараясь на меня не глядеть. Я бы тоже на ее месте постарался не глядеть на старика, с которого льется вода и свисают водоросли.

— Я иду пить кофе, — сказал я. — В кафе «Африка».

— Но, может, вам лучше...

— Сначала обсохнуть?

— Если так у вас принято.

— Нет, у нас принято гулять в мокрых костюмах, — ответил я. — Но все-таки мы вернемся в гостиницу и постараемся проникнуть туда с заднего хода, потому что наш обычай вызывает у вас удивление.

— Нет, что вы! — воскликнула неискренне Маша, но тут же повела меня к гостинице задним двором.

Я покорно следовал за девушкой, стараясь не обращать внимания на прохожих. По дороге я немного обсох, а в номере, размышляя о несходстве обычаев, переоделся в вечерний торжественный костюм с большим олимпийским гербом, нашитым на верхний карман. Я не рассчитывал разгуливать здесь в парадном облачении, но мой багаж был ограничен. Хорошо, хоть малыш не потонул.

Маша покорно ждала меня в холле, сложив ручки на коленях, словно нашкодившая школьница, которой предстоит объяснение с учителем.

— У вас рано учат детей плавать? — спросил я, присаживаясь рядом.

— Плавать? Да, конечно.

— Но я никогда не видал пловцов с Илиги на наших соревнованиях.

— Мы недавно примкнули к олимпийскому движению, — сказала Маша.

— Но вот вы же участвовали.

Маша покраснела, что в сочетании с зелеными волосами дало любопытный эффект, который мог бы загнать в могилу дальтоника.

— Но я же легкоатлет, — сказала она. — За легкоатлетов мы ручались. А за пловцов очень трудно ручаться. Вы меня понимаете?

Я пока не понимал, но на всякий случай внушительно кивнул.

— Но поймите меня правильно! — воскликнула она вдруг с дрожью в голосе. — Я первый раз была на таких крупных отборочных соревнованиях. Этого со мной больше никогда не повторится.

Я кивал как болванчик, надеясь, что она проговорится.

— А теперь получилось, что из-за моего поведения илигийцам придется отказаться от участия в галактических соревнованиях. Поверьте, только я одна виновата. Снимите меня. Накажите меня. Но не наказывайте целую планету. Все теперь зависит от вас.

— Знаете что, — сказал я задумчиво. — Расскажите мне все по порядку. Одно дело — изучать документы, другое выслушать показания сторон. Только ничего не скрывайте.

Маша глубоко вздохнула, словно собиралась ныр-

нуть в воду, чем напомнила мне мой собственный неразумный поступок.

— Значит, после того, как я стала чемпионкой Илиги в беге на двести метров, меня решили направить на отборочные соревнования сектора на Элеиду. Со мной был еще один юноша — прыгун. У него все обошлось. Ну вот, взяла я старт. Чуть-чуть засиделась. Самую чуточку. Знаете, как это бывает? Вы никогда сами не бежали?

— Я прыгал в высоту, — сказал я. — На два пятьдесят четыре.

— Ой как высоко! — искренне удивилась Маша, чем очень меня к себе расположила.

— Но вы все равно знаете, как бывает, когда задержишься на старте. Бежишь и себя проклинаешь. А ведь два первых забега я выиграла. Вот и бежала, проклиная себя, и очень мне было стыдно, что на меня надеялись, а я так подвожу. Мы с другой девушкой оторвались от остальных, но у нее запас был метра в два. Полметра я отыграла по-честному, а потом с собой не совладала. Я знала лишь одно: остается двадцать метров, семнадцать... вот я и фликнула.

Машины глаза были полны слез.

— Что вы сделали?

— Флик-ну-ла.

И тут Маша разревелась, и я погладил ее по зеленой головке и стал приговаривать: «Ну ничего, ничего...»

— Что теперь будет?.. — бормотала Маша. — Я же не могу им в глаза смотреть.

— Что же было потом?

— Потом? Потом все судьи сбежались и потребовали объяснений. У меня, сами понимаете, был соблазн сказать, что им показалось, но я сказала правду. А та, другая команда сразу написала протест. И федерация. Они совершенно правы.

Маша достала платок и высморкалась. Почему-то все женщины в Галактике, когда плачут, вместо того чтобы вытереть слезы, вытирают нос. Из сумочки вывалился на стол сложенный вчетверо лист бумаги.

— Вот, — сказала Маша, — вот этот проклятый протест. Они даже не стали слушать моих объяснений и обещаний.

Я взял протест, стараясь скрыть охватившую меня радость. Развернул его, словно хотел еще раз взвесить тяжесть обвинений. Протест был счастливой зацепкой. Я слишком далеко зашел в своем всеведении, чтобы спросить: что это значит: фликнула?

«...За несколько метров до финиша, — говорилось в протесте после подробного описания никому не нужных обстоятельств прибытия спортсменов с Илиги и порядка соревнований, вплоть до указания скорости и направления ветра и числа зрителей на стадионе, — представительница Илиги, почувствовав, что не может догнать свою соперницу честным путем, пролетела несколько метров по воздуху, превратившись в нечто, подобное птице и снабженное крыльями, форму и расцветку которых установить не удалось. После пересечения линии финиша спортсменка вновь опустилась на Землю и пробежала в своем естественном виде еще несколько метров, прежде чем остановилась...»

Далее следовали всякие пустые слова. Я сидел, перечитывал вышеприведенные фразы и все равно ничего не понимал.

Из столбняка меня вывело появление председателя Олимпийского комитета.

— Ну как, побеседовали? — спросил он, изобразив сдержанную радость, — надеюсь, вы поняли, что случай с ней лишь печальное недоразумение?

— Да, — сказал я, складывая протест и пряча его в карман. — Да.

И тут, может, потому, что переутомился или неожиданное купание подействовало мне на нервы, я потерял контроль над собой и, выругав последними словами Сплеша, признался, что до разговора с Машей ровным счетом ничего не знал о сути дела и в результате полдня потеряны понапрасну...

Мой неожиданный взрыв как-то успокоил коллегу и заставил его увидеть во мне — в строгом и страшном ревизоре — человека, подвластного слабостям. И потому он сказал:

— Позвольте, мой дорогой, рассказать вам все по порядку. Ведь планет в Галактике множество, и не можете же вы знать особенности каждой.

— Не могу, — согласился я. — На одной планете фликают, на другой...

— Вы совершенно правы. Ведь эволюция на Илиге проходила в куда более сложных условиях, чем, допустим, на Земле. Хищники преследовали наших отдаленных предков в воздухе, на суше и в воде. И были они быстры и беспощадны. Но природа пожалела наших предков. Она, помимо разума, наградила их особенностью, которой наделены и многие другие неагрессивные существа на нашей планете. Спасаясь от злых врагов, жертвы — а наши предки относились к числу жертв — могут менять форму тела в зависимости от среды, в которую они попадают. Представьте себе, что за вами гонится свамс. Это жуткое зрелище. Хорошо еще, что свамсы вымерли. Вот свамс догоняет вас в поле. Тогда в момент наибольшего нервного и физического напряжения структура вашего организма меняется, и вы взлетаете в воздух в виде птицы.

— Понимаю, — хотя я не был уверен, что понимаю.

— Помните, на перекрестке вы сказали, что птицы на вашей планете могут помешать транспорту. Мы не знали, шутка это или нет. Ведь никакой птицы там не

было. Просто какой-то школьник чуть не попал под машину. В последний момент он успел вывернуть и взлететь в воздух...

— Да, — сказал я, вспомнив птицу, взлетевшую перед машинами.

— Ну вот, я продолжу рассказ, — сказал мой коллега. — Спасаясь от свамсов, наши предки взлетали в воздух. Но что их там ожидало?

— Провиски, — подсказала Маша.

— Правильно, провиски, — согласился мой коллега. — Размахивая своими громадными черными перепончатыми крыльями, провиски раскрывали свои черные клювы, чтобы нас сожрать. Что оставалось делать нашим предкам? Они принимали единственное решение — ныряли в воду и превращались в рыб. По приказу на редкость совершенной нервной системы биологическая структура тела вновь претерпевала изменения...

— Все ясно, — сказал я, стараясь не улыбнуться. — Это свойство у вас с рождения?

— Как вам сказать... Постепенно, с развитием цивилизации, эти способности стали отмирать. Но мы их воспитываем в детях искусственно, потому что они полезны. Вы можете увидеть в нашем городе сцены, непонятные и даже пугающие приезжего. Вы можете увидеть, как маленьких детей кидают с крыш или в водоемы... Если не закрепить возможности ребенка в раннем детстве, он может вырасти недоразвитым уродом...

— Уродом, то есть...

— Да, уродом, который не умеет превратиться, когда надо, в птицу или рыбу. Извините, уважаемый Ким Перов, но это слово не относится к нашим гостям. Мы понимаем, что эволюция у вас шла иными путями.

— А жаль, — воскликнул я с чувством.

Моему взору предстала сцена у пруда, столь обычная

в их мире и так смутившая меня. Мой поступок должен был показаться окружающим верхом бестолковости. И неудивительно, что родители малыша поспешили вызволить ребенка из воды, чтобы глупый дедушка не сделал ему больно, схватив за плавничок или за жабры.

— Но, — и тут в голос моего собеседника зазвучали трагические нотки, — спортсмен, желающий выступать в обычных для Галактики видах спорта, дает клятву забыть о своих способностях. Больше того, мы надеялись, что никто в Олимпийском комитете не узнает наших... Ни к чему это... пошли бы разговоры...

— Ни к чему, — согласился я.

— Теперь, после этого краткого вступления, я хотел бы пригласить вас на специально приуроченные к вашему приезду соревнования по легкой атлетике. Вы сможете своими глазами убедиться, что и без фликанья мы добиваемся отличных результатов...

Я поднялся и последовал за моими гостеприимными хозяевами.

У подъезда гостиницы остановился автобус. Пассажиры уже вошли в него, и двери вот-вот должны были закрыться, когда за моей спиной послышался топот. Какой-то пожилой человек с двумя чемоданами в руках мчался через холл, держа в зубах голубую бумажку, наверно билет. Я посторонился. Увидев, что автобус отходит, человек подпрыгнул, превратился в серую птицу, подхватил когтями чемоданы, не выпуская из клюва билет, в мгновение ока долетел до автобуса и протиснулся внутрь, заклинив чемоданами дверь.

— Ну вот видите, — сказал мой коллега несколько укоризненно. — Иногда это помогает, но... не везде.

Не спуская глаз с удаляющегося автобуса, я спросил:

— А под землю ваши предки не пробовали прятаться?

— Это атавизм! — возмутилась Маша. — Там же грязно.

— Такие способности встречаются у геологов, — поправил ее мой коллега. — Так каковы наши перспективы в олимпийском движении?

— Еще не знаю, — сказал я.

А сам уже думал о бесконечных заседаниях комитета, где мне придется уламывать упрямую федерацию и торжественно клясться от имени илигийцев, что они преодолеют инстинкты ради честной спортивной борьбы.



Когда я сошел с электрички, уже стемнело. Шел мелкий бесконечный дождик. Оттого казалось, что уже наступила осень, хотя до осени было еще далеко. А может, мне хотелось, чтобы скорее наступила осень, и тогда я смогу забыть о вечерней электричке, этой платформе и дороге через лес. Обычно все происходит автоматически. Ты садишься в первый вагон метро, потому

что от него ближе к выходу, берешь билет в крайней кассе, чтобы сэкономить двадцать шагов до поезда, спешишь к третьему от конца вагону, потому что он оставливается у лестницы, от которой начинается асфальтовая дорожка. Ты сходишь с дорожки у двойной сосны, потому что если пройти напрямик, через березовую рощу, то выиграешь еще сто двадцать шагов — все за месяц измерено. Длина дороги зависит от того, насколько у тебя сегодня тяжела сумка.

Шел дождик, и, когда электричка ушла и стало тихо, я услышал, как капли стучат по листьям. Было пусто, словно поезд увез последних людей и я остался здесь совершенно один. Я спустился по лестнице на асфальтовую дорожку и привычно обошел лужу. Я слышал свои шаги и думал, что эти шаги старше меня. Наверное, я устал, и жизнь у меня получалась не такой, как хотелось.

Я возвращался так поздно, потому что заезжал к Валиной тетке за лампой синего цвета для Коськи, только в четвертой по счету аптеке отыскал шиповниковый сироп, должен был купить три бутылки лимонада для Райсы Павловны, не говоря уже о колбасе, сыре и всяких продуктах — там двести граммов, там триста, — вот и набралась сумка килограммов в десять, и хочется поставить ее под сосну и забыть.

Я сошел с асфальтовой дорожки и пошел напрямик по тропинке через березовую рощу. Тропинка была скользкой, приходилось угадывать ее в темноте, чтобы не споткнуться о корень.

Я согласен бегать после работы по магазинам и потом почти час трястись в электричке, если бы в этом был смысл, но смысла не было, как не было смысла во многом из того, что я делал. Я иногда думал о том, как относительно время. Мы женаты полтора года. И Коське уже скоро семь месяцев, он кое-что соображает.

И вот эти полтора года, с одной стороны, начались только вчера, и я все помню, что было тогда, а с другой стороны, это самые длинные полтора года в моей жизни. Одна жизнь была раньше, вторую я прожил теперь. И она кончается, потому что, очевидно, умирает человек не однажды, и, чтобы жить дальше и оставаться человеком, нужно не тянуть, не волынить, а отрезать раз и навсегда. И начать сначала.

Я поскользнулся все-таки, чуть не упал и еле спас лампу синего света. Правый ботинок промок; я собирался забежать в мастерскую, но, конечно, не хватило времени. Я вошел в поселок, здесь горели фонари, и можно было идти быстрее. У штaketника металась белая дворняга и захлебывалась от ненависти ко мне. Это, по крайней мере, какое-то чувство. Хуже нет, когда чувства пропадают и тебя просто перестают замечать. Нет, все в пределах нормы, видимость сохраняется, тебя кормят, пришивают тебе пуговицы и даже спрашивают, не забыл ли ты зайти в мастерскую и починить правый ботинок. Так недолго и простудиться. Дальнейший ход мыслей довольно элементарен. Если я простужусь, то некому будет таскать из Москвы сумки.

Дача Козарина вторая слева, и за кустами сирени виден свет на террасе. Раиса Павловна сидит там и трудится над амбарной книгой, в которой записаны все ее расходы и доходы. В жизни не видел человека, который так серьезно относился бы к копейкам. И меня сначала поразило, что Валентина, такая беззаботная и веселая раньше, нашла с ней общий язык. Может, скоро тоже заведет амбарную книгу и разлинует ее по дням и часам?

Мы сняли эту дачу, потому что ее нашла Валина тетка. Дача была старой, скрипучей и седой снаружи. Раньше там жил профессор Козарин, но он года три как умер, и дача досталась его племяннице Раисе, потому что у профессора не было других родственников. Все

вещи принадлежали когда-то профессору, Раиса закинула их в чулан, словно хотела вычеркнуть его не только из жизни, но из памяти тоже. Не знаю, был ли у нее когда-нибудь муж, но детей не было точно. Коську она не любила, он ее раздражал, и, если бы не эта дружба с Валентиной, нам бы с Коськой несдобровать. Дача была небольшая: две комнаты и терраса. Не считая кухни и чулана. Раиса рада была бы сдать все, но комнату пришлось оставить себе — она развела огород, а за ним надо следить. Мы как жильцы Раису не очень устраивали, но у нее не было выбора — дача далеко от станции и от Москвы, ни магазинов, ни другой цивилизации поблизости нету, а Раиса заломила за нее цену, как за дворец в Ницце, и в результате, как разборчивая невеста, осталась ни с чем. Пришлось соглашаться на нас.

Я перегнулся через калитку, откинул щеколду и прошел по скользкой дорожке к дому, нагибаясь, чтобы не задеть сиреневых кустов и не получить холодного душа за шиворот. Раиса сидела за столом, правда, не с амбарной книгой, а с фармацевтическим справочником, любимым ее чтением. В ответ на мое «здравствуйте» она сказала только:

— Опять загулял?

Мне хотелось метнуть в нее три бутылки лимонада, как гранаты, но я поставил бутылки в ряд перед ней, и она рассеянно сказала:

— А, да, спасибо.

Так королева английская, наверно, говорила лакею, который принес мороженое. Тут вошла Валентина и изобразила радость по поводу моего приезда:

— А я уж волновалась.

Наверно, она могла отыскать какое-то другое приветствие, и все кончилось бы миром, но я-то знал, что она не волновалась, а блаженно вязала или дремала

в теплой комнате, пока я тащился сюда, и думала о том, что вот кончится лето и ее тюремное заключение на даче, и она наконец встретит своего принца. А может, даже об этом не думала. Она живет в спокойном, растительном состоянии и выходит из него только под влиянием неприязни ко мне.

— Гулял я. — Мне было любопытно следить за ее реакцией. — Выпили с Семеновым, потом хоккей смотрели.

Валентина скептически улыбнулась и облила меня волной снисходительного презрения. Глаза у нее были не накрашены, и оттого взгляд оставался холодным. А я стоял и учился ненавидеть эти тонкие пальцы, лежащие равнодушно на столе, и прядь волос над маленьким ухом. Это трудная школа — куда легче ненавидеть самого себя.

— Ты устал, милый, — сказала Валентина. — Настоялся в очередях?

— Да говорю же, что пил с Семеновым!

Как мне хотелось вывести ее из себя, чтобы потеряла контроль, чтобы вырвалось наружу ее настоящее, злобное и равнодушное нутро!

— Удивительно, — проскрипела Раиса, — юноша из хорошей семьи...

— Какое вам дело до моей семьи!

И я сразу представил себе, как они хихикают с Валентиной, когда моя супруга рассказывает ей, как мой отец пытался запретить мне жениться на Валентине. Он сказал тогда: «Ты ни копейки не заработал за свою жизнь и хочешь теперь, чтобы я кормил и тебя, и твою жену?» Потом, глядя в прошлое, я понял, что расчет Валентины был на нашу квартиру, на отцовскую зарплату и благополучную жизнь. Ведь когда отец сказал

все это, она быстренько пошла на попятный. Она умело замаскировала свои мысли беспокойством о моем институте: «Тебе надо учиться, твои идеи бросить институт, уйти со второго курса, работать и снимать комнату не выдержат испытания. Нам будет трудно». Она отлично сыграла свою роль. Ей было нечего терять, разве только койку в общежитии. С ее внешними данными она могла выбрать квартиру получше нашей. И желающие были, я-то знаю.

Первые три-четыре месяца казалось, что стенок между нами не существует. Валентина работала, я работал, комнату мы нашли, и на вечерний я перешел без скрипа. Но тут в перспективе замаячил Коська, а когда Валентина ушла с работы и Коська материализовался, стало и в самом деле нелегко. Ей тоже. Она еще как-то рассчитывала на мое примирение с отцом, ради моего блага, как она объясняла, чтобы не платить за комнату и не ждать, что хозяйке надоедят ночные сцены, которые умел закатывать Коська, и она попросит нас покинуть помещение. Но я был упрям. Я тогда начал догадываться о ее игре, вернее, ее проигрыше, но все на что-то надеялся.

— Мне нет никакого дела до вашей семьи, — поджала губы Раиса. — Я имею в виду ту семью.

Другими словами, до моей — этой — семьи ей дело есть. Хороший стандартный союз двух гиен против одного зайца.

— Как Коська? — спросил я, чтобы не заводиться.

— Спит, — сказала Валентина и поджала губы, точно как Раиса. Валентина легко поддается влияниям.

Раиса поднялась, собрала бутылки и, прижав их к животу книгой, поползла к себе. Вообще-то террасу она нам сдала и получила за это деньги, но предпочитала проводить время на ней.

Я заглянул в комнату к Коське. Сын спал, и я попра-

вил на нем одеяло. Коська ни на кого не похож, и поэтому те, кто хочет сделать мне приятное, уверяют, что он моя копия, а Валентиныны тетки и подружки повторяют на все лады: «Валечка, какое сходство! Твой носик, твой ротик! Твои ушки!»

Ребенку, говорят, плохо расти без отца. Хорошо бы Валентина согласилась, когда мы разведемся, оставить Коську со мной. Я знал, что мать согласится получить меня обратно с сыном. Она его любит. Она из тех, кто считает Коську моей копией. Да и Валентине он не нужен — грустное свидетельство жизненного просчета. Когда она наконец отыщет свое счастье, у нее будут другие дети. Мне же больше ничего не надо. Я поймал себя на том, что думаю о разводе как о чем-то решенном.

— У тебя ботинок промок? — с издевкой спросила Валентина, входя за мной. — Ты ведь к сапожнику не успел?

— Угу, — сказал я, чтобы не ввязываться в разговор. Я был весь накален внутри, нервы плавилась. Сейчас она найдет способ побольнее упрекнуть меня в бедности.

Она нашла.

— Знаешь, Коля, — сказала она лицемерно. — Пожалуй, я обойдусь без плаща. Мой старый еще в норме. А ботинки тебе нужнее.

Я поймал ее взгляд. Глаза были холодными, издевающимися. Слова хлынули мне в горло и застряли клубком. Я закашлялся и бросился к двери. Валентина не побежала за мной, и я ясно представил, как она стоит, дотронувшись пальцем до острого подбородка, и загадочно улыбается. Удар был нанесен ниже пояса, запрещенный удар.

Был уже одиннадцатый час, и, хоть назавтра намечалась суббота, когда можно понежиться, я решил лечь пораньше. Устал. Лечь я могу на террасе, как всегда, все равно Валентина в комнате с Коськой, на случай пе-

репеленать его, когда проснется. Но надо было идти в комнату за бельем и подушкой. А этого делать я не хотел. Мог сорваться. Поэтому я достал «Коррозию металлов» — увлекательное чтение в таком настроении — и принялся за книгу. Валентина вскоре заглянула в щелку и спросила шепотом (Коська что-то возился во сне), буду ли я пить чай. Я на нее зашипел, и она спряталась. Я понял: Валентина что-то задумала, иначе бы давно оказалась на террасе и мурлыкнула бы раза два, чтобы привести меня в смиренное состояние. Пока, до осени, я ей нужен. Таскать сумки и угождать по хозяйству.

Скоро двенадцать. Заскрипела в дальней комнате кровать Раисы, хозяйка укладывалась, ей рано вставать — кур кормить. У меня слипались глаза. Ни строчки я не запомнил из «Коррозии». У меня в душе коррозия, это я понимал. И понимал еще, что в двадцать один год можно начать жизнь снова. Валентина тоже не ложилась. Она планировала новые унижения для меня, ждала, когда я не выдержу и приду за подушкой. Нет уж, не дождешься. Я посмотрел на свою ладонь — она была в крови. Значит, убил комара и сам этого не заметил. Дождик стучал по крыше, и ему вторил ровный шум струйки воды, сливавшейся с водостока в бочку у террасы. Мне даже нечем было накрыться — пиджак, еще не высохший, висел где-то на кухне над плитой. Взять, что ли, скатерть со стола? А почему бы и нет? Могу же я доставить утром удовольствие Раисе, когда она сунется на террасу и увидит, как я использовал рыночное произведение искусства с четырьмя оскаленными тигровыми мордами по углам. Я поставил пустую тарелку и прочую посуду на пол и только взялся за угол скатерти, как Валентина подошла к двери — мне слышен каждый ее шаг, особенно ночью. Я успел раскрыть книгу.

— Коля, — сказала она тихо, — ты занят?

— Я работаю, — отрезал я. — Спи.

Наверно, я потом задремал за столом, потому что очнулся вдруг оттого, что дождь кончился. И было очень тихо, только шелестели шаги Валентины за дверью. «Как она ненавидит меня!» — подумал я почти спокойно. Большая ночная бабочка билась о стекло веранды. Я бесшумно шагнул к дивану и, не погасив света, тут же заснул.

Проснулся я довольно рано, хотя Раиса уже беседовала со своими драгоценными курами под самой верандой. Было солнечное и ветреное утро, скрипели стволы сосен, и в углу веранды жужжали осы. Я не сразу понял, почему я сплю вот так, словно на вокзале. Первые несколько секунд у меня было отличное настроение, но тут квантами стали возвращаться мысли и слова вчерашнего вечера, и я сбросил ноги с дивана — мне не хотелось, чтобы кто-нибудь увидел меня. В комнате было тихо, я заглянул туда. Семья спала. Только Коська делал это безмятежно, а Валентина — сжавшись в комок и спрятав голову под одеяло, — даже во сне она избегала моего взгляда.

Я взял полотенце и зубную щетку и спустился в сад, к умывальнику, висевшему на стволе сосны. Пока я мылся, Раиса неслышно подкралась из-за спины и прошелестела:

— Сладко спите, голубки, без молока останетесь.

Она не здоровается, и я не буду. Но в ее ехидной фразе был здравый смысл. За два дома жила бабка Ксения, у которой мы брали молоко. Я, не говоря ни слова, подхватил с террасы бидон и пошел к калитке. Я шел и удивлялся себе: я был спокоен. И не мог сразу понять причины своего спокойствия. И только когда возвращался обратно, понял, в чем дело: оказывается, пока я спал, принял решение. Как будто решил во сне задачу, которую не мог решить несколько дней подряд.

Сегодня я поговорю с Валентиной. И скажу ей все. Так можно откладывать разговор на годы. Есть семьи, в которых кто-то тоже откладывает такой разговор. Год откладывает, два, пять, а там уже поздно.

Валентина уже вскочила. Она звенела посудой на кухне и, услышав, как я поднимаюсь по лестнице на веранду, крикнула оттуда:

— Молодец, что про молоко догадался!

Расшифровать эти слова было легче легкого. Значит, Раиса сообщила, что без ее напоминания я оставил бы ребенка без молока.

Сначала я хотел сказать о разводе прямо за завтраком и даже придумывал первые слова, но испугался, что Валентина примет мои слова с полным равнодушием — это она умеет — и скажет только: «Пожалуйста». Мне хотелось, чтобы она почувствовала то, что чувствую я, хотя бы пять процентов от этого. И я старался держать себя за завтраком в норме, и, когда Валентина рассказывала мне, как Коська вчера отвертел пупсу голову, я послушно улыбался.

— Ты сыт? — спросила Валентина, допивая кофе.

— Разумеется, — ответил я и потянулся за «Коррозией металлов». Она намекала на то, что я съедаю больше, чем зарабатываю. Кроме того, в любой момент она могла спросить, хорошо ли я провел ночь. «Коррозия металлов» нужна была мне как ширма. Мне надо было сообразить, когда начать разговор.

— Коль, — сказала Валентина, — у меня к тебе есть серьезное дело. Только не обижайся.

У меня оборвалось и упало сердце. Я никак не предполагал, что Валентина опередит меня. Неужели она нашла себе нового принца? Может, с помощью Раисы Павловны, услужливой старшей подруги? Почему я сам не заговорил до завтрака!

— Да, — сказал я равнодушно. Мне казалось, что

у меня шевелятся волосы — так метались в голове мысли.

— Я обещала Раисе Павловне, — сказала Валентина, — сделать одну вещь. Мы ей многим обязаны... ну, в общем, ты понимаешь...

Я ничего не понимал. Я сжался, как собака перед ударом, но при чем здесь Раиса?

— Ты знаешь, что ей трудно нагибаться, а она хочет сдать чулан. Если пробить в нем окно, он станет неплохой комнатой.

— Ну и пускай сдает, — ответил я автоматически. Это был какой-то очередной заговор, но, пока я не раскушу его, лучше не сопротивляться. — Она скоро и чердак сдаст. И пустую собачью конуру.

— Раиса просила вытащить из чулана старые профессорские журналы и бумаги, потом там два сундука и еще какая-то рухлядь. Она мне показывала.

Я мог бы сказать, что должен заниматься. Я мог бы даже сказать, что имею право хоть день в неделю отдохнуть. Но я растерялся. Ведь я готовился к другому разговору.

— Как хочешь, — сказал я.

— Ну вот и отлично.

В чулане пахло кошачьим пометом. В маленькое окошко под потолком пробивался луч солнца, и в нем важно плавали пылинки. Бумаги были связаны стопками, журналы грудami возвышались в углах и на ящиках.

Сзади возникла Раиса и сказала, хотя никто не просил ее:

— Все ценное я в институт отдала. Приезжали из института. Я отдала безвозмездно.

Ей понравилось последнее слово, и она повторила:

— Безвозмездно.

— За некоторые книги в букинистическом вам неплохо бы заплатили, — сказал я.

Она не уловила иронии и сразу согласилась, словно сама об этом жалела:

— Тут была масса книг, и некоторые из них старые, ценные. У профессора была изумительная библиотека.

Валентина надела пластиковый передник и косынку. Она вошла в чулан первой, и луч света зажег ее волосы. Ну почему у нас не получилось? Почему кто-то другой должен любоваться ее волосами?

— Бумагу и журналы складывайте у кухни, — напомнила Раиса.

Валентина не ответила. Видно, была информирована об этом заранее.

— Я уже договорилась со старьевщиком. Он приедет за макулатурой на грузовике, — сообщила Раиса.

Они и не сомневались, что я потрачу субботу на черный труд. Мое согласие было пустой формальностью.

Валентина наклонилась и передала мне первую пачку журналов. Я отнес их в сад и положил на землю. Журналы были немецкие, кажется, «Биофизический сборник» десятилетней давности. Я подумал, как быстро человек исчезает из жизни. Как быстро все забывается. Эти журналы стояли на полках рядом с книгами, и человек по фамилии Козарин, которого я никогда в жизни не видал даже на фотографии, подходил к этим полкам, и содержимое этих журналов было отпечатано у него в мозгу. Я открыл один из журналов наугад и увидел, что на полях расставлены восклицательные знаки и некоторые строчки подчеркнуты. Существовала стойкая обратная связь между жизнью Козарина и жизнью этих статей. И наверное, эти журналы и еще большие кипы бумаги, исписанные самим Козариным, потеряли выход к людям, как только не стало самого профессора. Вот сейчас приедет старьевщик и заберет их, чтобы потом их перемололи и напечатали на чистой бумаге новые журналы, каждый из которых прилепится к какому-то

человеку, срастется с ним и, вернее всего, умрет с ним. Три года назад на этой даче существовал замкнутый мир, построенный Козариным за многие годы. Теперь мы с Валентиной дочищали остатки его, чтобы новый, Раисин, безликий и маленький мирок полностью восторжествовал здесь. И я подумал, что обязательно, когда буду в Ленинке, загляну в каталог: что же написал, что придумал сам Козарин, есть ли ниточка, которую мы обрываем здесь и которая обязательно должна тянуться в другие места и в другое время?..

— Коля, — позвала Валентина и вернула меня на землю, где от меня, наверно, не останется никакой ниточки. — Ты куда пропал?

Раиса возилась на кухне, я думаю, чтобы поглядывать, не украду ли я по дороге килограмм-другой макулатуры. Я спросил ее, проходя:

— А Козарин кто был по специальности?

— Профессор, — ответила она простодушно.

— Профессора разные бывают. Химики, физики, историки.

— Ну, значит, физик, — сказала Раиса, и я ей не поверил. Просто слово «физик» звучало для нее уважительнее.

Валентина уже вытащила из чулана несколько пачек, и мне оставалось лишь пронести через кухню, и я краем глаза поглядывал на Раису, и мне казалось, что она шевелит губами, подсчитывает число пачек, чтобы потом занести никому не нужную цифру в амбарную книгу.

Так мы и работали около часа. Раз мне пришлось оторваться и сбежать к Коське, но вообще-то он вел себя в то утро очень благородно, будто предчувствовал наступление решительного момента и старался быть на высоте.

Валентина вымела пыль, и мы принялись за сундуки.

Разумеется, Раиса уже прошла сквозь них частым грешком, а потом сваливала в беспорядке туда все, что для нее не представляло коммерческого или хозяйственного интереса. В сундуках лежали вповалку старые, дырявые ботинки, битые чашки, тряпье, книги без начала и конца, но главное — масса обрывков проводов, проволоки, гаек, шурупов, коробочек с диодами, обломков печатных схем и, что совсем уж странно, два тщательно сделанных макета человеческого мозга, исчерканных и даже проткнутых кое-где булавками.

— У профессора было хобби, — сказал я. — Какое, неизвестно.

Раиса, которая все слышала, тут же отозвалась из кухни:

— Вы не представляете, в каком я застала все состоянии. Дача была абсолютно не приспособлена для жилья. Банки, склянки и проволоочки. Еще было много целых приборов, но эти, из института, с собой увезли. Целую машину.

Тогда ты боялась, была не уверена в своих правах. Еще бы, целая дача в наследство. Теперь бы так просто не отдала. Но вслух я выражать свое мнение не стал.

Мы вытаскивали барахло на улицу, пока сундуки не стали достаточно легкими, потом протащили их через кухню. Снаружи уже возвышалась гора макулатуры, и вид у нее был жалкий — в чулане это не так чувствовалось. Потом я выволок из чулана последние мешки и коробки, Валентина взяла мокрую тряпку, чтобы стереть пыль, а я задержался в саду, потому что вдруг захотелось поразмышлять о бренности человеческого существования. Но ничего из этого не вышло, размышления по заказу у меня не получаются. Вместо этого я вспомнил о том, что подходит решительный момент, а я почти забыл о нем, потому что не хотел о нем помнить, и за этот час или два, пока мы чистили авгиев чулан, Ва-

лентина умудрилась ни разу не напомнить мне о грустной действительности.

Я вытащил из груды хлама толстый обруч с выступами, словно зубцами короны, и подумал, что раньше, найдя такую штуку, я обязательно придумал бы что-нибудь веселое и короновал бы Валентину, как царицу Тамару. Теперь она таких шуток не понимает. Ну что же, можно короноваться самому — царь дураков и простофилы!

Я вернулся на террасу, туда, где придется начинать разговор. И наверно, теми же словами, как начала недавно Валя: «У меня к тебе есть серьезное дело». Ненавижу такие разговоры. К хорошему они не ведут. Но я и не надеялся на хорошее. Сейчас войдет Валентина.

Я испугался, что она войдет, и тут же появилась спасительная мысль — надо умыться. Я бросил обруч на диван и долго полоскался под тонкой струйкой из зеленого умывальника на сосне. Потом я увидел, что к умывальнику спешит Валентина с полотенцем в руке, и вернулся на террасу. Ну, сказал я себе, пора. Все случилось именно потому, что ты слишком долго был тряпкой. Хватит.

Я услышал, как скрипят ступеньки под ногами Валентины. Мне некуда было деть руки. Я взял обруч. Валентина подошла поближе, и я отодвинулся на шаг.

— Что это у тебя? — спросила она.

«А что, если Раиса услышит? — подумал я. — Нелзя же говорить при Раисе». Это был замечательный предлог, чтобы потянуть с разговором, но, как назло, Раиса промелькнула перед террасой и направилась к калитке. Она наверняка спешила поторопить старьевщика. Отступать было некуда.

— Что это? — повторила Валентина.

— Корона царицы Тамары, — сказал я. — Или царя Соломона. Все равно.

И я надел обруч на себя, а мой язык уже начал проносить подготовленные и тщательно отрепетированные за утро слова:

— Валя, у меня есть к тебе серьезное дело...

И в этот момент я замолчал. Я не слышал, что ответила Валентина, потому что меня не стало. Это было странное мгновенное чувство исчезновения. У меня сохранились ощущения, во мне были образы и мысли, но это все не имело ко мне ровным счетом никакого отношения. Описать это невозможно, и я клянусь, что ничего подобного не испытывал никто из людей. За исключением, наверно, Козарина.

Я анализировал эти свои необыкновенные ощущения потом. В мозгу человека миллиарды нервных клеток, у каждой свои дела и свои задачи. И наверно, среди них есть сколько-то таких, что ничего не делают, но ждут своего момента, в который мозгу приходится сталкиваться с настолько новыми ощущениями, что обычным рабочим клеткам с этим не справиться. И они, как детективы, бросаются на выручку, схватывая и отбрасывая различные возможности, перебирая варианты, пока не найдут тот единственный, верный выход, который можно сообщить остальным клеткам. Если не так, то почему же после первых мгновений паники мой мозг узнал, что со мной случилось?

Я увидел, узнал, услышал — называйте как хотите, — что творится в голове у Валентины. Если вы думаете, что я прочел ее мысли, это будет неверно. Мыслей я не читал. Просто я оказался внутри Вали, и то, что в описании занимает немало строк, стало моим достоянием мгновенно...

Был страх, потому что Николай, который с вечера нервничал, места себе не находил, наконец решился на что-то ужасное, что потом уже не исправишь. И его сло-

ва о серьезном разговоре, и то, как дрожат его руки, когда он напяливает на себя этот обруч... Он скажет, он обязательно должен сказать, что так больше жить нельзя, что он уйдет. И он, конечно, по-своему прав, потому что с самого начала было понятно, что он будет несчастлив. Он ведь, как мальчишка, не может смотреть в будущее. И тогда не смог, вернее, не захотел. Когда случился тот разговор с отцом и ясно стало, что родители не одобряют, вот тогда нужно было уйти от него, уехать, завербоваться куда-нибудь на стройку. И не было бы трудностей, таких страшных трудностей для Коли. Как только он тянул все эти месяцы! И ведь еще учился — похудел и издергался. Как она посмела навесить на шею любимому человеку такой груз — себя и Коську. Ой, если бы он чуть-чуть еще подождал, ведь осенью Коську устроили бы в ясли на пятидневку и она пошла бы работать. Но поздно. Потому что Колина любовь умерла, да и не сейчас умерла, а еще весной или зимой. Вот руки, обычные руки, даже не очень сильные, а можно смотреть часами на них, знать на ладони каждую морщинку и мечтать о том, чтобы нагнуться к ним и положить голову. И нельзя, потому что она так виновата перед ним: не хватило силы отказаться от счастья. А вся жизнь тогда складывалась из маленьких и больших чудес. Было чудом идти с ним в кино и знать, что в буфете он купит ириски «Забаву» и будет давать ей по штучке, и каждый раз его рука будет задерживаться на ее ладони. Было чудом бежать в соседнюю комнату общежития и за большие услуги в будущем выпрашивать черное платье у Светки, потому что Коля купил билеты на французского певца, и потом сидеть в очереди в парикмахерской и смотреть на часы, а времени остается всего ничего и можно опоздать, хотя Коля ничего не скажет. И было главное чудо, о котором даже нельзя рассказать никому в общежитии, а то оно растает. Ну по-

чему она не сумела вовремя спасти Колю от себя самой? Он ведь гордый, он не отказался бы сам от своего слова. А она женщина. А женщина всегда старше мужчины, если и мужчине и женщине нет двадцати лет. Его старики не полюбили ее. Если бы она была другая — студентка, москвичка, может, все было бы иначе. Ему и нужна другая. Как глупо вспоминать теперь, что она старалась понравиться отцу и мыла окна, когда ее не просили об этом, и все было невпопад и только раздражало! И она видела, что раздражает, но ничего не могла с собой поделать... А потом у Коли пропало все. Высохло, как ручей в засуху. Остался долг. Коля совестливый. Ему давно бы уйти. Он будет Коське помогать, он добрый. Как она устала за это лето! Не только физически, это не главное. Устала держать себя всегда в руках, не срываться, не напрашиваться на любовь, которую не могут дать. Как он обиделся вчера, когда она сказала, что надо купить ботинки, а плащ подождет! Не надо было так говорить, но вырвалось. Ей и в самом деле не нужен плащ, когда есть старый. Коля должен быть хорошо, красиво одет. Ведь он бывает в гостях, у друзей, заходит к своим родителям. И никто не должен знать, что ему трудно с деньгами, что дача сожрала все на два месяца вперед. Хорошо еще, удалось уговорить тетку, чтобы Коля не узнал, сколько она стоит на самом деле. А сто недостающих рублей она наскребла. Коля пока не заметил, что она продала сапоги и зеленую кофту. Это пустяки. Ей не перед кем красоваться. Еще очень страшно всегда, что Коля может подумать, будто она его укоряет за малый заработок. Он так может подумать из гордости. Ну и что, если у него нет еще специальности? Ведь скоро она пойдет работать, а там и институт он окончит, это все такие пустяки, хотя поздно об этом думать. Он так много работает и занимается. Ведь она знает, что ни с кем он не пьет и почти всех друзей рас-

терял. И вчера сидел занимался до полуночи. А у нее так зуб болел, хоть умри, а аспирин на террасе. Она сунулась было туда, но испугалась помешать. Он был раздраженный, усталый, лучше потерпеть. Наверно, раньше бы она так не подумала — пустяки какие: войди и возьми таблетку, но уже давно она как будто висит над пропастью, и слабнут руки, а внизу река. Зуб болел, она ходила по комнате на цыпочках, на Костика смотрела, на маленького Колю, и все ей хотелось, чтобы Коля вошел и положил ей руки на плечи. Хотя она знала, что не войдет. Она пыталась вязать. Она ненавидела это вязание, но надо же как-то зарабатывать, помогать Коле. Раиса устроила своей знакомой платье. Раиса такая корыстная, что наверняка с двадцати рублей за вязание пятерку себе за труды присвоила. Но с ней все просто. Она плохой человек, но хорошим не притворяется. С ней напрямик можно. Когда просила чулан разобрать, пришлось ей прямо сказать, что не в подарок. Договорились, что можно будет клубникой и другими ягодами с ее огорода бесплатно пользоваться. Для Костика, конечно. И очень неловко было идти к Коле. Она под утро вставала, поцеловала его в щеку, а он во сне нахмурился. Он весь уже против нее настроен, все тело его возмущается. И об этом она тоже старалась поменьше думать, потому что до последнего момента, пока Коля не сказал про серьезный разговор, она надеялась дотянуть до осени, как будто это спасительный рубеж, берег, до которого надо доплыть. А ведь сама понимала, что себя обманывает. Черепки как ни складывай, чашка не получится. А когда он в чулане трудился, ей показалось, что его неприязнь к ней прошла на время. И ей даже петь захотелось. И снова себя обманывала. Может, взять Костика и уехать с ним, а потом прислать письмо: «Я тебя, дорогой, всегда любить буду, но не хочу быть обузой». Ведь не пропадет же она. А сейчас уже поздно.

Он сам ее выгонит. И будет прав. Бедный мой Колька, мальчишка мой упрямый. Что с ним?..

Я потом понял, что все это продолжалось мгновение, ну, от силы две-три секунды, потому что Валя заметила, что я пошатываюсь, что я отключился, и бросилась ко мне, а я упал, и обруч скатился на диван.

Я пришел в себя сразу же, и глаза Валентины были близко, она так напугалась, что сказать вслух ничего не могла. У нее дрожали губы. Это литературное выражение, и я раньше никогда не видел, чтобы у людей в самом деле дрожали губы. Голова у меня кружилась, но я все-таки сел на полу, потом встал, опираясь о ее руку. У нее тонкая и сильная рука. И я держал ее за пальцы и думал, что ее пальцы жесткие от постоянной стирки.

— Ничего особенного, — сказал я. — Уже прошло. Честное слово.

— Ты переутомился, посиди, пожалуйста.

От страха за меня она потеряла способность владеть собой, она готова была залиться слезами и прижаться ко мне. И хотя я не знал уже ее мыслей и никогда в жизни не надену больше этот обруч (завтра же отвезу его в институт), я продолжаю читать их. И я испугался, что она заплачет, что она сломится так вот, сразу, а до этого допускать нельзя — на ближайшие пятьдесят лет у меня четкая задача: ни разу не допустить, чтобы этот глупый ребенок заревел. Пускай ревут другие. И тогда мне пришла в голову вредная мысль, это со мной бывает, если мне хорошо и у меня отличное настроение. Я сказал, не отпуская ее пальцев:

— Так я говорю, что у меня к тебе серьезный разговор.

Пальцы, которые жесткими подушечками осторожно притрагивались к моей ладони, сразу ослабли, стали безжизненными.

— Да, — сказала она детским голосом.

— В четверг твоя тетка придет?

Я разглядывал Валентину, будто только вчера с ней познакомился. Она не посмела поднять глаза.

— Обещала.

— Давай уговорим ее остаться ночевать. А я возьму билеты на концерт. Или в кино. Мы тысячу лет нигде с тобой не были.

— Лучше в кино, — сказала она прежде, чем успела осознать, что я сказал.

А потом вдруг бросилась ко мне, отчаянно вцепилась в рукава рубашки, прижала нос к моей груди, словно хотела спрятаться во мне, и заревела в три ручья.

Я гладил ее плечи, волосы и бормотал довольно бес-
связно:

— Ну что ты, ну перестань... Сейчас Раиса придет...
Не надо...



1

Ну вот и все. Драч снял последние показания приборов, задрал кожу и отправил стройботов в капсулу. Потом заглянул в пещеру, где прожил два месяца, и ему захотелось апельсинового сока. Так что голова закружилась. Это реакция на слишком долгое

перенапряжение. Но почему именно апельсиновый сок?.. Черт его знает почему... Но чтобы сок журчал ручейком по покатоному полу пещеры — вот он, весь твой, нагнись и лакай из ручья.

Будет тебе апельсиновый сок, сказал Драч. И песни будут. Память его знала, как поются песни, только уверенности в том, что она правильно зафиксировала этот процесс, не было. И будут тихие вечера над озером — он выберет самое голубое озеро в мире, чтобы обязательно на обрыве, над берегом, росли разлапистые сосны, а из слоя игл в прозрачном, без подлеска, лесу выглядывали крепкие боровики.

Драч выбрался к капсуле и, прежде чем войти в нее, в последний раз взглянул на холмистую равнину, на бурлящее лавой озеро у горизонта и черные облака.

Ну все. Драч нажал сигнал готовности... Померк свет, отлетел, остался на планете ненужный больше пандус. В корабле, дежурившем на орбите, вспыхнул белый огонек.

— Готовьтесь встречать гостя, — сказал капитан.

Через полтора часа Драч перешел по соединительному туннелю на корабль. Невесомость мешала ему координировать движения, хотя не причиняла особых неудобств. Ему вообще мало что причиняло неудобства. Тем более что команда вела себя тактично и шуток, которых он опасался, потому что очень устал, не было. Время перегрузок он провел на капитанском мостике и с любопытством разглядывал сменную вахту в амортизационных ваннах. Перегрузки продолжались довольно долго, и Драч выполнял обязанности добровольного сторожа. Он не всегда доверял автоматам, потому что за последние месяцы не раз обнаруживал, что сам надежнее, чем они. Драч ревниво следил за пультом и даже в глубине души ждал повода, чтобы вмешаться, но повода не представилось.

Об апельсиновом соке он мечтал до самой Земли. Как назло, апельсиновый сок всегда стоял на столе в кают-компании, и потому Драч не заходил туда, чтобы не видеть графина с пронзительно-желтой жидкостью.

Драч был единственным пациентом доктора Домби, если вообще Драча можно назвать пациентом.

— Я чувствую неполноценность, — жаловался доктору Драч, — из-за этого проклятого сока.

— Не в соке дело, — возразил Домби. — Твой мозг мог бы придумать другой пунктик. Например, мечту о мягкой подушке.

— Но мне хочется апельсинового сока. Вам этого не понять.

— Хорошо еще, что ты говоришь и слышишь, — сказал Домби. — Грунин обходился без этого.

— Относительное утешение, — ответил Драч. — Я не нуждался в этом несколько месяцев.

Домби был встревожен. Три планеты, восемь месяцев дьявольского труда. Драч на пределе. Надо было сократить программу. Но Драч и слышать об этом не хотел.

Аппаратура корабельной лаборатории Домби не годилась, чтобы серьезно обследовать Драча. Оставалась интуиция, а она трещала, как счетчик Гейгера. И хотя ей нельзя было целиком доверяться, на первом же сеансе связи доктор отправил в центр многословный отчет. Геворкян хмурился, читая его. Он любил краткость.

А у Драча до самой Земли было паршивое настроение. Ему хотелось спать, и короткие наплывы забытья не освежали, а лишь пугали настойчивыми кошмарами.

Мобиль института биоформирования подали вплотную к люку. Домби сказал на прощание:

— Я вас навещу. Мне хотелось бы сойтись с вами поближе.

— Считайте, что я улыбнулся, — ответил Драч, — вы приглашены на берег голубого озера.

В мобиле Драча сопровождал молодой сотрудник, которого он не знал. Он чувствовал себя неловко, ему, верно, было неприятно соседство Драча. Отвечая на вопросы, он глядел в окно. Драч подумал, что биоформиста из парня не получится. Драч перешел вперед, где сидел институтский шофер Полачек. Полачек был Драчу рад.

— Не думал, что ты выберешься, — сказал он с подкупающей откровенностью. — Грунин был не глупей тебя.

— Все-таки обошлось, — ответил Драч. — Устал только.

— Это самое опасное. Я знаю. Кажется, что все в порядке, а мозг отказывает.

У Полачека были тонкие кисти музыканта, и панель пульта казалась клавиатурой рояля. Мобиль шел под низкими облаками, и Драч смотрел вбок, на город, стараясь угадать, что там изменилось.

Геворкян встретил Драча у ворот. Грузный, носатый старик с голубыми глазами сидел на лавочке под вывеской «Институт биоформирования АН СССР». Для Драча, да и не только для Драча Геворкян давно перестал быть человеком, а превратился в понятие, символ института.

— Ну вот, — сказал Геворкян. — Ты совсем не изменился. Ты отлично выглядишь. Почти все кончилось. Я говорю почти, потому что теперь главные заботы ка-

саются меня. А ты будешь гулять, отдыхать и готовиться.

— К чему?

— Чтобы пить этот самый апельсиновый сок.

— Значит, доктор Домби донес об этом и дела мои совсем плохи?

— Ты дурак, Драч. И всегда был дураком. Чего же мы здесь разговариваем? Это не лучшее место.

Окно в ближайшем корпусе распахнулось, и оттуда выглянули сразу три головы. По дорожке от второй лаборатории бежал, по рассеянности захватив с собой пробирку с синей жидкостью, Дима Димов.

— А я не знал, — оправдывался он, — мне только сейчас сказали.

И Драча охватило блаженное состояние блудного сына, который знает, что на кухне трещат дрова и пахнет жареным тельцом.

— Как же можно? — нападал на Геворкяна Димов. — Меня должны были поставить в известность. Вы лично.

— Какие уж тут тайны, — отвечал Геворкян, будто оправдываясь.

Драч понял, почему Геворкян решил обставить его возвращение без помпы. Геворкян не знал, каким он вернется, а послание Домби его встревожило.

— Ты отлично выглядишь, — сказал Димов.

Кто-то хихикнул. Геворкян цыкнул на зевак, но никто не ушел. Над дорожкой нависали кусты цветущей сирени, и Драч представил себе, какой у нее чудесный запах. Майские жуки проносились, как тяжелые пули, и солнце садилось за старинным особняком, в котором размещалась институтская гостиница.

Они вошли в холл и на минуту остановились у портрета Грунина. Люди на других портретах улыбались. Грунин не улыбался. Он всегда был серьезен. Драчу

стало грустно. Грунин был единственным, кто видел, знал, ощущал пустоту и раскаленную обнаженность того мира, откуда он сейчас вернулся.

4

Драч уже второй час торчал на испытательном стенде. Датчики облепили его как мухи. Провода тянулись во все углы. Димов колдовал у приборов. Геворкян восседал в стороне, разглядывая ленты и косясь на информационные таблицы.

— Ты где будешь ночевать? — спросил Геворкян.

— Хотел бы у себя. Мою комнату не трогали?

— Все как ты оставил.

— Тогда у себя.

— Не рекомендую, — сказал Геворкян. — Тебе лучше отдохнуть в барокамере.

— И все-таки.

— Настаивать я не буду. Хочешь спать в маске, ради бога... — Геворкян замолчал. Кривые ему не нравились, но он не хотел, чтобы Драч это заметил.

— Что вас смутило? — спросил Драч.

— Не вертись, — сказал Димов. — Мешаешь.

— Ты слишком долго пробыл в полевых условиях. Домби должен был отозвать тебя еще два месяца назад.

— Из-за двух месяцев пришлось бы все начинать сначала.

— Ну-ну, — сказал Геворкян. Непонятно было, одобряет он Драча или осуждает.

— Когда вы думаете начать? — спросил Драч.

— Хоть завтра утром. За ночь обработаем все, что записал. Но я тебя очень прошу, спи в барокамере. Это в твоих интересах.

— Если только в моих интересах... Я зайду к себе.

— Пожалуйста. Ты вообще нам больше не нужен.

«Плохи мои дела, — подумал Драч, направляясь к двери. — Старик сердится».

Драч не спеша пошел к боковому выходу мимо одинаковых белых дверей. Рабочий день давно кончился, но институт, как всегда, не замер и не заснул. Он всегда напоминал Драчу обширную клинику с дежурными сестрами, ночными авралами и срочными операциями. Маленький жилой корпус для кандидатов и для тех, кто вернулся, был позади лабораторий, за баскетбольной площадкой. Тонкие колонны особняка казались голубыми в лунном сиянии. Одно или два окошка в доме светились, и Драч тщетно пытался вспомнить, какое из окошек принадлежало ему. Сколько он прожил здесь? Чуть ли не полгода.

Сколько раз он возвращался вечерами в этот домик с колоннами и, поднимаясь на второй этаж, мысленно подсчитывал дни... Драч вдруг остановился. Он понял, что не хочет входить в этот дом и узнавать вешалку в прихожей, щербинки на ступеньках лестницы и царапины на перилах. Не хочет видеть коврика перед своей дверью...

Что он увидит в своей комнате? Следы жизни другого Драча, книги и вещи, оставшиеся в прошлом...

Драч отправился назад в испытательный корпус. Геворкян прав — ночь надо провести в барокамере. Без маски. Она надоела на корабле и еще более надоеет в ближайшие недели. Драч пошел напрямик через кусты и спугнул какую-то парочку. Влюбленные целовались на спрятанной в сирени лавочке, и их белые халаты светились издали, как предупредительные огни. Драчу бы их заметить, но не заметил. Он позволил себе расслабиться и этого тоже не заметил. Там, на планете, такого случиться не могло. Мгновение расслабленности означало бы смерть. Не больше и не меньше.

— Это я, Драч, — сказал он влюбленным.

Девушка засмеялась.

— Я жутко перепугалась, здесь темно.

— Вы были там, где погиб Грунин? — спросил парень очень серьезно. Ему хотелось поговорить с Драчом, запомнить эту ночь и неожиданную встречу.

— Да, там, — ответил Драч, но задерживаться не стал, пошел дальше, к огонькам лаборатории.

Чтобы добраться до своей лаборатории, Драчу предстояло пройти коридором мимо нескольких рабочих залов. Он заглянул в первый зал. Он был разделен прозрачной перегородкой. Даже казалось, будто перегородки нет и зеленоватая вода необъяснимым образом не обрушивается на контрольный стол и двух одинаковых тоненьких девушек за ним.

— Можно войти? — спросил Драч.

Одна из девушек обернулась.

— Ох, — сказала она. — Вы меня напугали. Вы Драч? Вы дублер Грунина, да?

— Правильно. А у вас тут кто?

— Вы его не знаете, — сказала вторая девушка. — Он уже после вас в институт приехал. Фере, Станислав Фере.

— Почему же, — ответил Драч. — Мы с ним учились. Он был на курс меня младше.

Драч стоял в нерешительности перед стеклом, стараясь угадать в сплетении водорослей фигуру Фере.

— Вы побудьте у нас, — сказали девушки. — Нам тоже скучно.

— Спасибо.

— Я бы вас вафлями угостила...

— Спасибо, я не люблю вафель. Я ем гвозди.

Девушки засмеялись.

— Вы веселый. А другие переживают. Стасик тоже переживает.

Наконец Драч разглядел Станислава. Он казался бурым холмиком.

— Но это только сначала, правда? — спросила девушка.

— Нет, неправда, — ответил Драч. — Я вот сейчас переживаю.

— Не надо, — сказала вторая девушка. — Геворкян все сделает. Он же гений. Вы боитесь, что слишком долго там были?

— Немножко боюсь. Хотя был предупрежден заранее.

5

Конечно, его предупредили заранее. Неоднократно предупреждали. Тогда вообще скептически относились к работе Геворкяна. Бессмысленно идти на риск, если есть автоматика. Но институт все-таки существовал, и, конечно, биоформы были нужны. Признание скептиков пришло, когда биоформы Селвин и Скавронский спустились к батискафу Валтонена, который лежал, потеряв кабель и плавучесть, на глубине шести километров. Роботов, которые не только бы спустились в трещину, но и догадались, как освободить батискаф и спасти исследователей, не нашлось. А биоформы сделали все, что надо.

— В принципе, — говорил тогда Геворкян на одной пресс-конференции, и это глубоко запало в упрямую голову Драча, — наша работа предугадана сотнями писателей, сказочников в таких подробностях, что не оставляет места для воображения. Мы перестраиваем биологическую структуру человека по заказу, для исполнения какой-то конкретной работы, оставляя за собой возможность раскрутить закрученное. Однако самая сложная часть всего дела — это возвращение к исходной точке.

Биотрансформация должна быть подобна одежде, защитному скафандру, который мы можем снять, как только в нем пройдет нужда. Да мы и не собираемся соперничать с конструкторами скафандров. Мы, биоформисты, подхватываем эстафету там, где они бессильны. Скафандр для работы на глубине в десять километров слишком громоздок, чтобы существо, заключенное в нем, могло исполнять ту же работу, что и на поверхности земли. Но на той же глубине отлично себя чувствуют некоторые рыбы и моллюски. Принципиально возможно перестроить организм человека так, чтобы он функционировал по тем же законам, что и организм глубоководной рыбы. Но если мы этого достигнем, возникает иная проблема. Я не верю в то, что человек, знающий, что он обречен навечно находиться на громадной глубине в среде моллюсков, останется полноценным. А если мы действительно окажемся способны вернуть человека в исходное состояние, в общество ему подобных, то биоформия имеет право на существование и может пригодиться человеку.

Тогда проводились первые опыты. На Земле и на Марсе. И желающих было более чем достаточно. Гляциологи и спелеологи, вулканологи и археологи нуждались в дополнительных руках, глазах, коже, легких, жабрах... В институте новичкам говорили, что не все хотели потом с ними расставаться. Рассказывали легенду о спелеологе, снабженном жабрами и громадными, видящими в темноте глазами, который умудрился сбежать с операционного стола, когда его собрались привести в божеский вид. Он, мол, с тех пор скрывается в залитых ледяной водой бездонных пещерах Китано-Роо, чувствует себя отлично и два раз в месяц отправляет в «Вестник спелеологии» обстоятельные статьи о своих новых открытиях, выцарапанные кремнем на отшлифованных пластинках графита.

Когда Драч появился в институте, у него на счету были пять лет космических полетов, достаточный опыт работы со стройботами и несколько статей по эпиграфике монов. Грунина уже готовили к биоформации, и Драч стал его дублером.

Работать предстояло на громадных раскаленных планетах, где бушевали огненные бури и смерчи, на планетах с невероятным давлением и температурами в шестьсот-восемьсот градусов. Осваивать эти планеты надо было все равно — они были кладовыми ценных металлов и могли стать незаменимыми лабораториями для физиков.

Грунин погиб на третий месяц работы. И если бы не его, Драча, упрямство, Геворкяну, самому Геворкяну не преодолеть бы оппозиции. Для Драча же — Геворкян и Димов знали об этом — труднее всего было трансформироваться. Просыпаться утром и понимать, что ты сегодня менее человек, чем был вчера, а завтра в тебе останется еще меньше от прежнего.

Нет, ты ко всему готов, Геворкян и Димов обсуждали с тобой твои же конструкционные особенности, эксперты приносили на утверждение образцы твоей кожи и объемные модели твоих будущих глаз. Это было любопытно, и это было важно. Но осознать, что касается это именно тебя, до конца было невозможно.

Драч видел Грунина перед отлетом. Во многом он должен был стать похожим на Грунина, вернее, сам он как модель был дальнейшим развитием того, что формально называлось Груниным, но не имело ничего общего с портретом, висящим в холле Центральной лаборатории. В дневнике Грунина, написанном сухо и деловито, были слова: «Чертовски тоскливо жить без языка. Не дай бог тебе пережить это, Драч». Поэтому Геворкян пошел на все, чтобы Драч мог говорить, хоть это и усложнило биоформирование и для Драча было

чревато несколькими лишними часами на операционном столе и в горячих биованнах, где наращивалась новая плоть. Так вот, хуже всего было наблюдать за собственной трансформацией и все время подавлять иррациональный страх. Страх остаться таким навсегда.

6

Драч прекрасно понимал нынешнее состояние Станислава Фере. Фере должен был работать в ядовитых бездонных болотах Хроноса. У Драча было явное преимущество перед Фере. Он мог писать, рисовать, находиться среди людей, мог топтать зеленые лужайки института и подходить к домику с белыми колоннами. Фере до конца экспедиции, пока ему не вернут человеческий облик, был обречен знать, что между ним и всеми остальными людьми, по меньшей мере, прозрачная преграда. Фере знал, на что идет, и приложил немало сил, чтобы получить право на эту пытку. Но сейчас ему было несладко.

Драч постучал по перегородке.

— Не будите его, — сказала одна из девушек.

Бурый холмик взметнулся в туче ила, и могучий стального цвета скат бросился к стеклу. Драч инстинктивно отпрянул. Скат замер в сантиметре от перегородки. Тяжелый, настойчивый взгляд гипнотизировал.

— Они жутко хищные, — сказала девушка, и Драч внутренне усмехнулся. Слова ее относились к другим, настоящим скатам Хроноса, но это не значило, что Фере менее хищен, чем остальные. Скат осторожно ткнулся мордой в перегородку, разглядывая Драча. Фере его не узнал.

— Приезжай ко мне на голубое озеро, — сказал Драч.

Маленький тамбур следующего зала был набит молодыми людьми, которые отталкивали друг друга от толстых иллюминаторов и, вырывая друг у друга микрофон, наперебой давали кому-то противоречивые советы.

Драч остановился за спинами советчиков. Сквозь иллюминатор он различил в легком тумане, окутавшем зал, странную фигуру. Некто голубой и неуклюжий реял в воздухе посреди зала, судорожно взмывая вверх, пропадая из поля зрения и появляясь вновь в стекле иллюминатора совсем не с той стороны, откуда можно было его ожидать.

— Шире, шире! Лапы подожми! — кричал в микрофон рыжий негр, но тут же девичья рука вырвала у него микрофон.

— Не слушай его, не слушай. Он совершенно не способен перевоплотиться. Представь себе...

Но Драч так и не узнал, что должен был себе представить тот, кто находился в зале. Существо за иллюминатором исчезло. Тут же в динамике раздался глухой удар, и девушка спросила деловито:

— Ты сильно ушибся?

Ответа не последовало.

— Раскройте люк, — сказала рубенсовская женщина с косой вокруг головы.

Рыжий негр нажал кнопку, и невидимый раньше люк отошел в сторону. Из люка пахнуло пронизывающим холодом. Минус двенадцать, отметил Драч. Теплый воздух из тамбура рванулся внутрь зала, и люк заволокло густым паром. В облаке пара материализовался биоформ. Негр протянул ему маску:

— Здесь слишком много кислорода.

Люк закрылся.

Биоформ неловко, одно за другим, стараясь никого не задеть, сложил за спиной покрытые пухом крылья.

Шарообразная грудь его трепетала от частого дыхания. Слишком тонкие руки и ноги дрожали.

— Устал? — спросила рубенсовская женщина.

Человек-птица кивнул.

— Надо увеличить площадь крыльев, — сказал рыжий негр.

Драч потихоньку отступил в коридор. Им овладела бесконечная усталость. Только бы добраться до барокамеры, снять маску и забыться.

7

Утром Геворкян ворчал на лаборантов. Все ему было не ладно, не так. Драча он встретил, словно тот ему вчера сильно насолил, а когда Драч спросил: «Со мной что-то не так?» — отвечать не стал, занялся перфолентами.

— Ничего страшного, — сказал Димов, который, видно, не спал ночью ни минуты. — Мы этого ожидали.

— Ожидали? — взревел Геворкян. — Ни черта мы не ожидали. Господь бог создал людей, а мы их перекраиваем. А потом удивляемся, если что не так.

— Ну и что со мной?

— Не трясись.

— Я физически к этому не приспособлен.

— А я не верю, не трясись. Склеим мы тебя обратно. Но это займет больше времени, чем мы рассчитывали.

Драч промолчал.

— Ты слишком долго был в своем нынешнем теле. Ты сейчас физически новый вид, род, семейство, отряд разумных существ. А у каждого вида есть свои беды и болезни. А ты, вместо того чтобы следить за реакциями и беречь себя, изображал испытателя, будто хотел вы-

яснить, при каких же нагрузках твоя оболочка треснет и разлетится ко всем чертям.

— Если бы я этого не делал, то не выполнил бы того, что от меня ожидали.

— Герой, — фыркнул Геворкян. — Твое нынешнее тело болеет. Да, болеет своей, еще не встречавшейся в медицине болезнью. И мы должны будем ремонтировать тебя по мере трансформации. И при этом быть уверенным, что ты не станешь уродом. Или киборгом. В общем, это наша забота. Надо будет тебя пообследовать, а пока можешь отправляться на все четыре стороны.

8

Драчу не следовало бы этого делать, но он вышел за ворота института и направился вниз, к реке, по узкой аллее парка, просверленного солнечными лучами. Он смотрел на свою короткую тень и думал, что если уж помирать, то все-таки лучше в обычном, человеческом облике. И тут он увидел девушку. Девушка поднималась по аллее, через каждые пять-шесть шагов она останавливалась и, наклоня голову, прижимала ладонь к уху. Ее длинные волосы были темными от воды. Она шла босиком и смешно поднимала пальцы ног, чтобы не уколоться об острые камешки. Драч хотел сойти с дорожки и спрятаться за куст, чтобы не смущать девушку своим видом, но не успел. Девушка его увидела.

Девушка увидела свинцового цвета черепаху, на панцире которой, словно черепашка поменьше, располагалась полушарием голова с одним выпуклым циклопическим глазом, разделенным на множество ячеек, словно стрекозиный. Черепаха доставала ей до пояса

и передвигалась на коротких толстых лапах, которые выдвигались из-под панциря. И казалось, что их много, может, больше десятка. На крутом переднем скосе панциря было несколько отверстий, и из четырех высывались кончики щупалец. Панцирь был поцарапан, кое-где по нему шли неглубокие трещины, они расходились звездочками, будто кто-то молотил по черепахе острой стамеской или стрелял в нее бронебойными пулями. В черепахе было нечто зловещее, словно она была первобытной боевой машиной. Она была не отсюда.

Девушка замерла, забыв отнять ладонь от уха. Ей хотелось убежать или закричать, но она не посмела сделать ни того, ни другого.

«Вот дурак, — выругал себя Драч. — Теряешь реакцию».

— Извините, — сказала черепаха. Голос ровный и механический, он исходил из-под металлической маски, прикрывавшей голову до самого глаза. Глаз шевелился, словно перегородочки в нем были мягкими.

— Извините, я вас напугал. Я не хотел этого.

— Вы... робот? — спросила девушка.

— Нет, биоформ, — сказал Драч.

— Вы готовитесь на какую-то планету?

Девушке хотелось уйти, но уйти значило показать, что она боится. Она стояла и, наверно, считала про себя до ста, чтобы взять себя в руки.

— Я уже прилетел, — сказал Драч. — Вы идите дальше, не смотрите на меня.

— Спасибо, — вырвалось у девушки, и она на цыпочках, забыв о колющих камешках, обежала Драча. Она крикнула вслед ему:

— До свидания.

Шаги растворились в шорохе листвы и суетливых майских звуках прозрачного теплого леса. Драч вышел к реке и остановился на невысоком обрыве, рядом со

скамейкой. Он представил, что садится на скамейку, и от этого стало совсем тошно. Хорошо бы сейчас сигануть с обрыва — и конец. Это была одна из самых глупых мыслей, которые посещали Драча за последние месяцы. Он мог с таким же успехом прыгнуть в Ниагарский водопад, и ничего бы с ним не случилось. Ровным счетом ничего. Он побывал куда в худших переделках.

Девушка вернулась. Она подошла тихо, села на скамейку и смотрела перед собой, положив узкие ладони на колени.

— Я сначала решила, что вы какая-то машина. Вы очень тяжелый?

— Да. Я тяжелый.

— Знаете, я так неудачно нырнула, что до сих пор не могу вытрясти воду из уха. С вами так бывало?

— Бывало, — сказал Драч.

— Меня зовут Кристиной, — сказала девушка. — Я тут недалеко живу, в гостях. У бабушки. Я, как дура, испугалась и убежала, и, наверно, вас обидела.

— Ни в коем случае. Я на вашем месте убежал бы сразу.

— Я только отошла и вспомнила. Вы же были на тех планетах, где и Грунин. Вам, наверно, досталось?..

— Это уже прошлое. А если все будет в порядке, через месяц вы меня не узнаете.

— Конечно, не узнаю.

Волосы Кристины быстро высохли под ветром.

— Вы знаете, — сказала Кристина, — вы мой первый знакомый космонавт.

— Вам повезло. Вы учитесь?

— Я живу в Таллине. Там и учусь. Может, мне и повезло. На свете есть много простых космонавтов. И совсем мало таких...

— Наверно, человек двадцать.

— А вы потом, когда отдохнете, снова поменяете тело? Станете рыбой или птицей?

— Этого еще не делали. Даже одной перестройки много для одного человека.

— Жаль.

— Почему?

— Это очень интересно — все испытать.

— Достаточно одного раза.

— Вы чем-то расстроены? Вы устали?

— Да, — сказал Драч.

Девушка осторожно протянула руку и дотронулась до панциря.

— Вы что-нибудь чувствуете?

— По мне надо ударить молотом, чтобы я почувствовал.

— Обидно. Я вас погладила.

— Хотите пожалеть меня?

— Хочу. А что?

«...Вот и пожалела, — подумал Драч. — Как в сказке: красавица полюбит чудище, а чудище превратится в доброго молодца. У Геворкяна проблемы, датчики, графики, а она пожалела — и никаких проблем. Ну разве только высмотреть поблизости аленький цветочек, чтобы все как по писаному...»

— Когда выздоровеете, приезжайте ко мне. Я живу под Таллином, в поселке, на берегу моря. А вокруг сосны. Вам приятно будет там отдохнуть.

— Спасибо за приглашение, — поблагодарил Драч. — Мне пора идти. А то хватятся.

— Я провожу вас, если вы не возражаете.

Они пошли обратно медленно, потому что Кристина считала, что Драчу трудно идти быстро, а Драч, который мог обогнать любого бегуна на Земле, не спешил. Он послушно рассказывал ей о вещах, которые нельзя описать словами. Кристине казалось, что она все ви-

дит, хотя представляла она себе все совсем не так, как было на самом деле.

— Я завтра приду к той скамейке, — тихо проговорила Кристина. — Только не знаю, во сколько.

— Завтра я, наверное, буду занят, — сказал Драч, потому что подозревал, что его жалеют.

— Ну как получится, — ответила Кристина. — Как получится...

9.

Драч спросил у Полачека, который копался в моторе мобиля, где Геворкян. Полачек сказал, что у себя в кабинете. К нему прилетели какие-то вулканологи, наверное, будут готовить нового биоформа.

Драч прошел в главный корпус. В предбаннике перед кабинетом Геворкяна было пусто. Драч приподнялся на задних лапах и снял со стола Марины Антоновны чистый лист бумаги и карандаш. Он положил лист на пол и, взяв карандаш, попытался нарисовать профиль Кристины. Дверь в кабинет Геворкяна была прикрыта неплотно, и Драч различал густой рокот его голоса. Потом другой голос, повыше, сказал:

— Мы все понимаем и, если бы не обстоятельства, никогда бы не настаивали.

— Ну никого, равным счетом никого, — гудел Геворкян.

— За исключением Драча.

Драч сделал два шага к двери. Теперь он слышал каждое слово.

— Мы не говорим о самом Драче, — настаивал вулканолог. — Но должны же быть подобные биоформы.

— У нас не было заказов в последнее время. А Са-

разини будет готов к работе только через месяц. Кроме того, он не совсем приспособлен...

— Но послушайте. Вся работа займет час, от силы два. Драч провел несколько месяцев в значительно более трудной обстановке...

— Вот именно поэтому я не могу рисковать.

Геворкян зашелестел бумагой, и Драч представил, как он протягивает вулканологам кипу лент.

— Я не представляю, как мы вытянем его и без такой поездки. Его организм работал на пределе, вернее за пределом. Мы начнем трансформацию со всей возможной осторожностью. И никаких нагрузок. Никаких... Если он полетит с вами...

— Ну простите. Пока ваш Саразини будет готов...

Драч толкнул дверь, не рассчитав удара, и дверь отлетела, словно в нее попало пушечное ядро.

Последовала немая сцена. Три лица, обращенные к громадной черепахе. Один из вулканологов оказался розовым толстяком.

— Я Драч, — обратился Драч к толстяку, чтобы сразу рассеять недоумение. — Вы обо мне говорили.

— Я тебя не приглашал, — перебил его Геворкян.

— Рассказывайте, — сказал Драч толстому вулканологу.

Тот закашлялся, глядя на Геворкяна.

— Так вот, — вмешался второй вулканолог, высохший и будто обугленный. — Извержение Осенней сопки на Камчатке, мы полагаем, то есть мы уверены, что, если не прочистить основной, забитый породой канал, лава прорвется на западный склон. На западном склоне сейсмическая станция. Ниже, в долине, поселок и завод...

— И эвакуировать некогда?

— Эвакуация идет. Но мы не можем демонтировать завод и станцию. Нам для этого надо три дня. Кроме

того, в четырех километрах за заводом начинается Куваевск. Мы запускали к кратеру мобиль со взрывчаткой. Его просто отбросило. И хорошо, что не на станцию...

Геворкян стукнул кулаком по столу.

— Драч, я не позволю. Там температуры на пределе. На самом пределе. Это самоубийство!

— Позвольте, — сказал Драч.

— Идиот, — вспылил Геворкян. — Извержения может и не быть.

— Будет, — грустно сказал толстяк.

Драч направился к двери. Высохший вулканолог последовал за ним. Толстяк остался, пожал плечами, сказал Геворкяну:

— Мы примем все меры. Все возможные меры.

— Ничего подобного, — не соглашался Геворкян. — Я лечу с вами.

Он включил видеоселектор и вызвал Димова.

— Это просто великолепно, — сказал толстяк. — Ну просто великолепно.

Проходя через предбанник, Драч подхватил щупальцем с пола листок с профилем Кристины, смял его в тугой комок и выбросил в корзину. Движения щупалец были так быстры, что вулканолог, шедший на шаг сзади, ничего не разглядел.

10

Над Осенней сопкой поднимался широкий столб черного дыма и сливался с низкими облаками, окрашивая их в бурый цвет. На посадочной площадке неподалеку от подножия сопки стояло несколько мобилей, в стороне роботы под надзором техников собирали бур, похожий на веретено. Под тентом, спасавшим от мелкого грязного дождя, но не защищавшим от ветра и холода, на низком столике лежали, придавленные камнями, схе-

мы и диаграммы. Драч задержался, разглядывая верхнюю диаграмму. Лава не могла пробиться сквозь старый, миллион лет назад забитый породой канал. Лишь газы прорывались сквозь трещины в базальтовой пробке. Зато с каждой минутой все больше трещин образовывалось на слабом западном склоне.

Человек в белом шлеме и огнеупорном скафандре снимал данные с радиограммы зондов. Другой вулканолог принимал сообщения наблюдателей. Новости не сулили ничего хорошего.

Димов протянул Геворкяну записку с цифрами давления и температур в жерле.

— На самом пределе, — сказал он. — На самом пределе.

Он знал, что Драч все равно уйдет в вулкан, и в голосе его была печальная отрешенность.

Заряды были готовы.

Толстый вулканолог принес шлемы для Геворкяна и Димова.

— Час назад они запускали к кратеру мобиль, — сказал он виновато, — хотели приземлить его у трещины. Он разбился, и взрыв ничего не дал.

— Вас Куваевск вызывает, — сказал радист. — Они начали демонтаж завода, но еще надеются.

— Ответьте им, чтобы подождали час. На мою ответственность.

Толстый вулканолог посмотрел на Драча, будто ожидал поддержки.

— Пошли, — сказал Драч.

Геворкян надел шлем. Шлем был велик и опустился до самых бровей. Геворкян стал похож на старого рыцаря, который во главе горстки храбрецов должен защищать страну от нашествия вражеских армий. Таким его и запомнил Драч.

Драча подняли на мобиле к кромке старого кратера. Усталый вулканолог в грязном шлеме — он за последние три дня пытался пройти к жерлу — повторил инструкции, которые Драч уже знал наизусть.

— Трещину видно отсюда. Конечно, когда рассеивается дым. Вы спускаетесь по ней восемьдесят метров. Там свободно. Мы зондировали. И укладываете заряды. Потом выбираетесь, и мы взрываем их дистанционно. Там уклон до шестидесяти градусов. Сможете?

Вулканолог с трудом заставлял себя обращаться на «вы» к свинцовой черепахе. Он столько раз сталкивался с автозонтами, стройботами и прочими машинами, схожими чем-то с этой черепахой, что ему все время приходилось уговаривать себя, что перед ним человек, биоформ. И еще он смертельно устал из-за этого проклятого вулкана.

— Смогу, — ответил Драч. — Шестидесять градусов мне по зубам.

Перед тем как снять маску и передать ее вулканологу, он сказал:

— Маску не потеряйте. Она мне еще пригодится. Без нее я глух и нем.

— А как вы будете дышать?

— Не буду дышать. Почти не буду. Кислород мне противопоказан.

— Я жду вас здесь, — сказал вулканолог. Драч не услышал его слов.

Драч скатился по отлогому склону в кратер и на секунду задержался у трещины. Сверху сыпался пепел и мелкие камешки. В стороне над самой кромкой кратера реяли два мобиля. В одном — вулканологи, в другом — Геворкян с Димовым.

Трещина оказалась куда шире, чем Драч ожидал. Он стал быстро спускаться, привычно регистрируя состав газов. Температура повышалась, но была ниже

предельной. Потом склон пошел вниз круче, и Драчу пришлось идти зигзагами, повисая порой на двух шупальцах. Второй парой шупалец он прижимал к панцирю заряды. Гора вздохнула, и Драч прижался к стене трещины, чтобы не улететь вверх с фонтанами газов. Надо было спешить. Драч ощутил, как раскрываются трещины на западном склоне. Спуск становился все сложнее. Стены почти смыкались, и Драчу приходилось протискиваться между живыми, колышущимися камнями. Он уже спустился за семьдесят метров. Температура газов достигла четырехсот градусов. Он припомнил диаграмму. Для того чтобы пробка разлетелась наверняка, надо пройти еще метров пять. Можно, конечно, в соответствии с инструкцией оставить заряды здесь, но пять метров желательны. Отверстие под собой он заметил, вернее угадал, по рвущейся оттуда струе пара. Температура поднялась скачком градусов на сто. Он уже ощущал тепло. Сопка затряслась, как в припадке кашля. Он взглянул вверх. Путь назад еще был. Драч скользнул в горячую щель.

Щель расширялась книзу, образуя мешок, а дно мешка было словно сито. Такую жару Драч испытал лишь однажды, на второй планете. Там он мог уйти. И ушел.

Драч прикрепил заряды к самой надежной плите. Но и эту самую надежную плиту трясло. А западный склон, должно быть, уже рвался сейчас, как полотно.

Драч подтянулся на одном шупальце к верхнему отверстию. Газы, выбивавшиеся снизу, ожигали, гора дернулась, и шупальце оборвалось. Как веревка. Драчу удалось удержаться, присосавшись мгновенно остальными тремя к вертикальной стенке. В тот же момент воздушная волна — видно, вверху произошел обвал — швырнула Драча на пол каменного мешка.

Страх не было. Некогда было. Драч чувствовал,

как спекаются внутренности. Давление газов в каменной полости росло, и двигаться было все труднее. Виноваты были лишние пять метров. На секунду Драчу показалось, что он уже выползает из трещины и видит серое небо. Он рванулся вверх, отчаянно и зло, потому что Кристина завтра придет к той скамейке, потому что у Геворкяна, который ждет его наверху, плохое сердце.

Он выбрался из каменного мешка, но оказалось, что трещину уже завалило обломками базальта. Он попытался раздвинуть обломки породы, но понял, что не хватает на это сил. Надо отдохнуть, чуть-чуть отдохнуть. В обожженном теле распространялась непомерная усталость, что начала его преследовать в последние дни на той планете и не отпускала на Земле.

Драч стоял, вжавшись в щель между глыбами базальта. Ему предстояло теперь найти слабое место в этом завале, отыскать глыбу, которая слабее других загнана в трещину, и вырвать ее так, чтобы не обвалить на себя всю пробку. И пока его щупальца вяло и медленно обшаривали глыбы, разыскивая слабинку, в мозгу мелькнула мысль. Сначала она прошла где-то на периферии мозга, затем, вернувшись, зазвенела, как сигнал тревоги. Он понял, что все может пойти насмарку. Пока он не выйдет отсюда, они не станут взрывать снаряды. Они будут ждать, надеяться на чудо. Они даже не станут бомбить пробку с воздуха. Они будут ждать. Они попытаются спасти его, хотя это невозможно, и оттого могут погибнуть люди и наверняка погибнет все, что находится на западном склоне и дадыше, на равнине.

Драч действовал осторожно и осмотрительно, стараясь не потерять сознания. Это было главным — не потерять сознания. Он вернулся к отверстию, из которого только что выбрался с таким трудом, прыгнул

вниз и очутился рядом с плоской плитой, на которой лежали заряды. Плита словно собралась пуститься в пляс. Драч подумал, как хорошо, что у него нет нервных окончаний на внешней оболочке, — он бы умер от боли. Обожженные щупальца были неловки. Прошло минуты полторы, прежде чем Драчу удалось развинтить один из зарядов, чтобы превратить его во взрыватель. Драч отлично знал эту систему. Такие заряды были у него на тех планетах. Заряд включался лишь от сигнала, но если ты знаком с системой, то можно включить цепь самому.

Драч подумал, что когда он кончит работу, то, прежде чем замкнуть цепь, он позволит себе несколько секунд, чтобы вспомнить кое-что, как полагается напоследок. Но когда кончил, оказалось, что этих секунд у него нет.

Взрыв раздался неожиданно для всех, кроме усталого вулканолога, который лежал за камнями и думал так же, как Драч. Сопка содрогнулась и взревела. Вулканолог прижался к камням. Два мобиля, которые кружились у кратера, отбросило, как сухие листья, — пилотам еле удалось взять машины под контроль. Оранжевая лава хлынула в старое жерло и апельсиновым соком начала наполнять кратер.

Вулканолог бросился бежать вниз по склону: он знал, что поток лавы через несколько минут пробьется в его сторону...

Кристина пришла на ту скамейку у речки; было всем тепло. Она выкупалась в ожидании Драча. Потом почитала. А он не шел. Кристина ждала до сумерек. На обратном пути она остановилась у ворот института и увидела, что с посадочной площадки поднимается

большой мобиль. Кристина сказала себе, что в этом мобиле Драч улетает на какое-то задание. Поэтому он и не смог прийти. Но когда он вернется, то обязательно придет к скамейке. И она решила приходить к скамейке каждый день, пока живет здесь.

В большом мобиле в Москву увозили Геворкяна. У сопки он как-то держался, а вернулся — и сдал. У него было слабое сердце, и спасти его могли только в Москве.

СОДЕРЖАНИЕ

МОЖНО ПОПРОСИТЬ НИНУ?	3
ПОЛОВИНА ЖИЗНИ	19
КРАСНЫЙ ОЛЕНЬ — БЕЛЫЙ ОЛЕНЬ	77
ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК	91
СКАЗКА О РЕПЕ	116
ТЕРПЕНИЕ И ТРУД	136
ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПАМЯТИ	153
СНЕГУРОЧКА	190
ЕСЛИ БЫ НЕ МИХАИЛ...	204
ПРОТЕСТ	220
КОРОНА ПРОФЕССОРА КОЗАРИ- НА	237
О НЕКРАСИВОМ БИОФОРМЕ	258

Булычев К.

Б90 Люди как люди. М., «Молодая гвардия», 1975.
288 с. (Б-ка советской фантастики).

Рассказы Булычева имеют ярко выраженную лирическую и сказочную окраску. Герои рассказов не наделены какими-то сверхъестественными способностями. Но в какие бы ситуации они ни попадали, космические или сказочные, они остаются хорошими и добрыми людьми. Воодушевленные высокими идеалами, они смело идут на риск и жертвы ради долга и других людей.

Б 70302—061 183—75
078(02)—75

P2

Булычев Кир

ЛЮДИ КАК ЛЮДИ

Редактор С. Михайлова

Художник К. Сошинская

Художественный редактор Б. Федотов

Технический редактор Н. Носова

Корректоры: З. Харитоновна, Т. Пескова

Сдано в набор 18/XI 1974 г. Подписано к печати 28/II 1975 г.
A08060. Формат 70×108¹/₃₂. Бумага № 2. Печ. л. 9 (усл. 12,6).
Уч.-изд. л. 12,3. Тираж 100 000 экз. Цена 38 коп. Т. П. 1975 г.,
№ 183. Заказ 2191.

Типография издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес
издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сушев-
ская, 21.

Уважаемые читатели!

Присылайте ваши отзывы о содержании, художественном оформлении и полиграфическом исполнении книги, а также пожелания автору и издательству.

Укажите ваш адрес, профессию и возраст.

Пишите по адресу: Москва, А-30, Суцеевская улица, 21, издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия».

Сканирование - Беспалов
DjVu-кодирование - Беспалов



38 коп.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ